Ярослав Голованов

КАТАСТРОФА

(ИЗ ХРОНИКИ «КОРОЛЕВ»)

В начале 30-х годов молодой инженер, уже известный среди авиаторов как автор нескольких любопытных проектов планеров и легкого самолета, Сергей Павлович Королев начинает интересоваться ракетной техникой — областью непопулярной, в которой, как считалось тогда, серьезно специалисту делать нечего.

Да, в Калуге жил старик Циолковский, человек странный, немного «не от мира сего», издавал свои книжки, в которых мысли здравые так переплетались с фантазиями, что представить себе все это воплощенным в конкретных конструкциях было невозможно, да, он был признан и даже обласкан Советской властью, но нельзя было не видеть, что все умственные построения калужского мечтателя были бесконечно далеки от реалий и потребностей бурной эпохи индустриализации страны.

Особенно крупными победами в те годы не только в нашей стране, но и во всем мире могла гордиться авиация, переживавшая невиданный подъем и собравшая под свое крыло — в прямом и переносном смысле — лучшие инженерные умы. И хотя теоретики предрекали, что авиационный мотор имеет пределы и по мощности, и по допустимой высоте своей работы, до пределов этих было еще очень далеко, все рекорды регулярно обновлялись и ни в каких реактивных двигателях самолеты 30-х годов не нуждались.

В своей работе «Исследование мировых пространств реактивными приборами», которая ныне считается классическим трудом мирового естествознания, Константин Эдуардович Циолковский пытался заглянуть в будущее. Он писал: «Обыкновенно идут от известного к неизвестному: от швейной иглки к швейной машине, от ножа к мясорубке, от молотильных цепов к молотилке, от экипажа к автомобилю, от лодки к кораблю. Так и мы думаем перейти от аэроплана к реактивному прибору для завоевания солнечной системы». Через четверть века Циолковский вновь возвращается к той же мысли: «Преобразованный аэроплан будет служить переходным типом к небесному кораблю».

Мысль была интересной, но не более. Завоевание солнечной системы небесными кораблями — вряд ли эту проблему можно было считать злободневной в то время. Но молодой Королев, мечтающий об авиации беспредельных возможностей, увидел в словах Циолковского то, что не увидели другие: реактивный принцип дает самолету невиданную свободу, открывает ему путь в стратосферу и еще выше — в безвоздушное пространство. И когда в 1932 году при Осоавиахиме создается Группа изучения реактивного движения (ГИРД), Сергей Павлович, быстро став ее лидером, с невероятной энергией начинает работы по этому самому «преобразованию аэроплана», о котором писал К. Э. Циолковский. Через неделю после первого успеха ГИРД — запуска 17 августа 1933 года нашей первой ракеты 09 — Королев публикует в «Вечерней Москве» заметку «Путь к ракетоплану». Заканчивается она так: «От ракет опытных, ракет грузовых, к ракетным кораблям — ракетопланам, — таков наш путь!» И через семь лет, 13 июля 1940 года, в письме к Сталину (этот документ впервые будет приведен здесь полностью), уже вторично

осужденный «враг народа» Королев вновь пишет: «Целью и мечтой моей жизни было создание впервые для СССР столь мощного оружия, как ракетные самолеты... Я... хочу продолжать работу над реактивными самолетами для обороны СССР».

В начале 30-х годов в нашей стране, кроме ГИРД, существовала еще одна организация, серьезно занимающаяся ракетной техникой, — Ленинградская газодинамическая лаборатория (ГДЛ). В отличие от осоеавиахимовской, то есть общественной ГИРД, ГДЛ финансировалась военными и занималась вещами более прозаическими, чем ракетоплан, и более нужными армии, прежде всего — пороховыми реактивными снарядами и ускорителями для облегчения подъема тяжелых самолетов. Наряду с этим молодой выпускник Ленинградского университета Валентин Петрович Глушко энергично совершенствовал в ГДЛ жидкостные реактивные двигатели (ЖРД).

В конце 1933 года по инициативе М. Н. Тухачевского — одного из немногих людей, которые сумели предвидеть великое будущее ракеты, два наиболее жизнеспособных и энергичных коллектива — ГИРД и ГДЛ — были объединены в первый в мире ракетный центр — Реактивный научно-исследовательский институт — РНИИ. Так начался новый, очень важный и очень непростой период в жизни Сергея Павловича Королева.

Две организации с двумя руководителями объединялись в одну, и руководитель нужен был, естественно, один. Ситуация деликатная. Начальником военной ГДЛ только что был назначен Иван Терентьевич Клейменов. Из крестьян; участник гражданской войны, коммунист, красный командир: два «ромба». Соответственно и профессия у Ивана Терентьевича — «военный партиз». До ГДЛ работал он в берлинском торгпредстве. И второй кандидат — начальник гражданской ГИРД Сергей Павлович Королев. Из семьи интеллигентов, штатский, беспартийный и почти на десять лет моложе. Естественно, предпочтение было отдано Клейменову.

Королев стал его замом. Но и в замах ходил недолго: конфликты с Клейменовым привели к тому, что из замов Королева перевели в руководители одного из отделов института. Отстранен от должности он был по распоряжению начальника научно-технического управления НКТП Бухарина. Николай Иванович не мог знать, что таким образом он спас жизнь великому конструктору: останься Королев в руководстве института, созданного стараниями «врага народа» Тухачевского, через три года он был бы расстрелян. Именно эта участь ждала и Ивана Терентьевича Клейменова, и Георгия Эриховича Лангемака — крупнейшего специалиста по пороховым ракетам, занявшего кресло Королева. В 1938-м часто казнили не людей, а должности.

Жизнь в РНИИ была непростой, настроения — пестрыми. Тут работали москвичи и ленинградцы, военные и штатские, партийцы и беспартийные, специалисты разного профиля, опыта, уровня. Уже пробивались, шли в рост люди, умеющие поменять формулу математическую формулой политической, обоснованный план — громким обещанием, настоящее дело — звонкой фразой.

Положение Королева в РНИИ осложнялось еще и тем, что идеи, которыми он был так увлечен и над реализацией которых так энергично работал в ГИРД, — создание больших жидкостных ракет и летательных аппаратов с ЖРД — не находили поддержки у руководителей нового института. И понять их можно: инженеры ГДЛ привезли в Москву солидный задел по пороховым ракетам. Именно создание реактивной артиллерии представлялось тогда программой наиболее реальной и выполнимой в обозримом будущем. Так и случилось: к началу Великой Отечественной войны в РНИИ родилась знаменитая «катюша».

Но Королев считал жидкостные ракеты и ракетоплан не менее перспективными и важными для обороноспособности страны. С упорством, столь для него характерным, он требовал у Клейменова и Лангемака, чтобы ему дали и нужных людей, и производственную базу, и испытательные стенды, и полигон. Нельзя сказать, что работы Королева зажимали, но и развернуться ему в полном соответствии с его способностями тоже не давали. За время работы в РНИИ —

1933—1938 годы — Сергей Павлович, продолжая исследования, начатые в ГИРД, построил и испытал несколько жидкостных ракет, работающих на спирте и жидком кислороде, с расчетной дальностью, измеряемой десятками километров. Ракеты летали плохо. Если в ГИРД Королев писал: «В центре внимания ракетный мотор», то теперь он понимает, что успех дела более всего зависит от надежной системы управления ракетой в полете. Именно отсутствие такой системы привело к тому, что ни одна из ракет Королева тех лет не была принята на вооружение.

Однако самым любимым детищем Сергея Павловича оставался ракетоплан, работы над которым он начал еще в 1931 году. «Внедрить» его в тематику института было особенно трудно, поскольку в РНИИ занимались «земными» делами, авиационных специалистов там не было, а Клейменов и Лангемак справедливо полагали, что летательными аппаратами — будь то поршневые или реактивные — должны заниматься авиационные конструкторские бюро. И все-таки с огромным трудом в середине 30-х годов Королеву удалось убедить ученый совет РНИИ включить ракетоплан в тематический план работы института.

Феномен Сергея Павловича Королева прежде всего в точном соответствии личных устремлений устремлениям времени. Он хотел учиться и получил среднее образование в Одесской стройпрофшколе — экспериментальном, новаторском учебном заведении, дающем пищу для ума ищущего и оригинального. Он хотел заниматься авиацией, и это желание совпало с периодом ее бурного развития, создания Общества друзей воздушного флота, планерных кружков, авиационных школ. Королев стал выпускником авиационного отделения МВТУ имени Баумана, его дипломной работой руководил знаменитый Андрей Николаевич Туполев. Но Королев не был бы Королевым, если бы в начале 30-х годов он не задумал обогнать свое время. Для таких людей, как Сергей Павлович, это возможно. И в 1957 году он доказал всему миру, что это возможно! Но в 1938-м ему не дали обогнать. Он остался в своем времени — страшном времени, которое переживала наша страна.

Такова предыстория событий, о которых рассказывают новые главы хроники «Королев».

1

...Преступление, совершенное над отдельным лицом, не есть преступление только перед лицом, прямо от него пострадавшим, но и перед целым обществом.

Николай Чернышевский.

Когда Тухачевский решил объединить силы ракетчиков Москвы и Ленинграда, его непосредственный начальник Климент Ефремович Ворошилов идею эту не поддержав и был рад сплавить новорожденный институт Орджоникидзе в Наркомтяжпром. Но это лишь маленький частный эпизод, и можно простить наркомвоенмору, что не оценил он ракеты: в мире были считанные люди, способные их тогда оценить. Нет, спор Ворошилова и Тухачевского не о ракетах, он глубже и шире, он охватывал кардинальные, стратегические вопросы строительства армии. Если разговор касался будущей войны, Ворошилов видел перед глазами своими дико ревущую кавалерийскую лаву, лихих, веселых бойцов, гладких сытых коней, сверкание клинков над спутанными ветром гривами. Он видел гражданскую войну — только в будущей войне солдат, коней и фуража должно быть больше. Очевидно, Сталин заставил его поверить в авиацию. Хорошо, если пушек тоже будет больше. И пулеметов, конечно. У него не было какой-либо военной доктрины, пусть даже ошибочной. Приоритет кавалерии не доктрина, а воспоминания. Как оно там будет дальше — представлялось туманным. А главное — он сжился с мыслью, что в конечном счете все будет решать Сталин.

В 1922 году 29-летний командующий войсками Западного военного округа Тухачевский, делегат XI съезда РКП(б), по поручению Фрунзе готовит доклад, в котором прямо говорит: в будущей армии роль конницы уменьшится, а роль авиации, бронетанковых войск и артиллерии возрастет. В 1928 году Тухачевский направил Сталину записку о необходимости решительного технического перевооружения армии. Крупнейший военный теоретик, он в труде «Новые вопросы войны» еще в 1931—1932 годах (то есть практически одновременно с началом работы Королева над ракетопланом) писал: «Осуществление бомбардировочных полетов в стратосфере будет означать громадный технический и военный переворот. Гигантская быстрота перелетов (например, Ленинград—Париж—два-три часа), вытекающая отсюда внезапность и, наконец, неуязвимость для зенитной артиллерии».

Мысль эта не оставляет его. Через три года он снова к ней возвращается: «Чем больше скорость самолета, тем он труднее уязвим со стороны зенитной артиллерии, тем он труднее уязвим со стороны истребителей противника. Поэтому эти показатели имеют не меньшее, а иногда и большее значение, чем показатели количественного порядка».

Был ли у Королева более верный единомышленник? Мог ли не ликовать Сергей Павлович, читая слова Тухачевского, словно прямо ему адресованные: «Не смотря на то, что полеты в стратосфере находятся в стадии первоначальных опытов, не подлежит никакому сомнению, что решение этой проблемы не за горами...» Тухачевский писал о танках, радиосвязи и радиоуправляемых минах, о новых подводных лодках, новых методах обучения войск, новой организации работы тыла. Он был автором более ста научных работ.

Генерал-лейтенант Ф. И. Жаров, который хорошо знал Михаила Николаевича, поскольку в предвоенные годы был начальником вооружений ВВС, один из немногих чудом уцелевших людей из ближайшего окружения маршала, написал в своих воспоминаниях: «Тухачевскому в развитии военной техники принадлежит такое место, на которое не может претендовать никто другой из наших военачальников».

В 1970 году старый военный инженер, прошедший и ссылки, и фронт, сказал мне о Тухачевском:

— Поверьте мне, старику, это был военный гений.

И Клим Ворошилов с его конницей...

Тухачевский несколько лет пытался объяснить своему непосредственному начальнику, что кавалерия не может быть главной силой в будущей войне. Безрезультатно. Недаром подхалимы придумали ему эпитет «железный». Ворошилов и впрямь отличался железным упрямством. Если он бывал благодушно настроен, что случалось не часто, он пытался отшучиваться, ссылался на опыт Буденного, потом начинал злиться. Буденный был прост. Когда при нем выражали сомнение в непобедимости кавалерийских атак, он грозил пальцем и изрекал «классическую» фразу: «Погодите, лошадь еще свое слово скажет!..» Это уже какой-то фарс, а Тухачевский был человеком военным и осознавал свою ответственность и перед армией, и перед народом. С трибуны VII Всесоюзного съезда Советов он сказал:

— Мы привыкли за время гражданской войны к коннице, как к самому быстрому роду войск, а большинство привыкло и к пехотным действиям, и перестроиться на новый лад, уметь использовать подвижность авиации и наших механизированных войск, наших танков не так-то просто...

Эта дуэль коня Ворошилова и мотора Тухачевского тянется многие годы. За несколько недель до гибели, понимая, что Ворошилова и чаще всего соглашающегося с ним Сталина ему все равно не убедить и ничего, кроме гнева наркома, это не вызовет, Тухачевский тем не менее публикует статью, в которой прямо говорит: «Нам пришлось столкнуться с теорией «особенной» маневренности Красной Армии — теорией, основанной не на учете нового вооружения как в руках наших возможных врагов, так и в руках советского бойца, а на одних лишь уроках гражданской войны, на взглядах, более навеянных героикой гражданской войны, чем обоснованных ростом могущества, культуры, ростом крупной индустрии социали-

стического государства, а также ростом вооружений армий наших возможных противников из капиталистического лагеря».

Можно себе представить, как взбесила эта статья Ворошилова. В те дни и была окончательно решена судьба красных генералов. Говорил ли Ворошилов со Сталиным? Не мог не говорить.

Забегая вперед, хочется проследить за продолжением конно-моторного спора просто для лучшего понимания позиции Ворошилова. Уже после разгрома Сталиным, Ворошиловым и Ежовым Красной Армии в 1938 году, уже не имея перед собой ни одного военачальника, который бы посмел с ним спорить так, как Тухачевский, и, что того страшнее, кто мог бы с ним спорить на уровне Тухачевского, Ворошилов по-прежнему остается убежденным противником модернизации армии. В докладе «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота» в феврале 1938 года он утверждает:

— Конница во всех армиях мира переживает, вернее уже пережила кризис и во многих армиях почти что сошла на нет... Мы стоим на иной точке зрения... Мы убеждены, что наша доблестная конница еще не раз заставит о себе говорить, как о мощной и победоносной Красной кавалерии... Красная кавалерия по-прежнему является победоносной и сокрушающей вооруженной силой и может и будет решать большие задачи на всех боевых фронтах...

В конце концов Сталин понял, что кавалерийская доктрина двух нерасстрелянных его любимцев — самых бесталанных из маршальской пятерки — полная чушь, и начал от нее отмежевываться. Все идет по хорошо продуманной, выверенной схеме: свалить собственные грехи на других, убедить всех, что порочен не стиль его руководства, а глупые действия неумелых исполнителей гениальных замыслов. Так он «поправлял» неугомонных коллективизаторов, обвиняя их в «головокружении от успехов». Так на январском Пленуме ЦК ВКП(б) 1938 года он «исправлял» ошибки ретивых чекистов. Теперь пришла пора наставить заблудших военачальников. На заседании Главного военного совета 17 апреля 1939 года он уже говорит о том, что «культ традиций и опыта гражданской войны помешали... перестроиться на новый лад, перейти на рельсы современной войны». А в январе 1941 года на заседании того же совета буквально повторяет слова Тухачевского, сказанные Михаилом Николаевичем еще в 1922 году, приписывая себе мысли, за которые, в частности, высказавший их был казнен: «Современная война будет войной моторов: моторы на земле, моторы в воздухе, моторы на воде и под водой. В этих условиях победит тот, у кого будет больше моторов и больший запас мощностей...»

Страшно думать, сколько людей заплатили своей жизнью за это позднее прозрение «величайшего из полководцев всех времен и народов»...

Сообщение о раскрытии заговора в Красной Армии ошеломило Королева. Он часто встречался с Михаилом Николаевичем, слышал его выступления, не раз с ним говорил. Королев не мог заставить себя поверить в то, что Тухачевский — враг. Понимая умом несбыточность своих надежд, сердцем все-таки надеялся: разберутся, вероятно, ошибка, не может быть, чтобы не разобрались, ведь это Тухачевский!

Каждое утро он с нетерпением хватал газету, искал сообщения о суде. 11 июня развернул «Красную звезду» и не поверил своим глазам: передовая статья называлась «Шпионам и изменникам пощады не дадим!». Каким шпионам?! Каким изменникам?! Ведь суда еще не было, ведь еще надо доказать, что арестованные — изменники и шпионы! Королев не был знатоком юридических тонкостей, но такую элементарную вещь не увидеть было нельзя. Суд еще не приступил даже к разбирательству дела, а газета писала: «Маски сорваны, шпионы пойманы с поличным. Они сознались в своих гнусных преступлениях, в своем предательстве, вредительстве и шпионаже».

Тогда, в июне 1937 года, Королев не понимал, а если бы кто-нибудь и объяснил ему, то не поверил бы, что суд никому не нужен, что это проформа. Он не поймет этого и через год — в июне 38-го, когда его самого арестуют и он будет с

нетерпением ждать суда. Он не мог представить себе, что ни вопросы суда, ни ответы обвиняемых никого не интересуют, что приговор вынесен задолго до суда и даже больше — задолго до того, как подсудимые были арестованы и превратились в подсудимых. В конце концов и Королеву откроется истина: этот суд — спектакль. Но и после этого он еще долго не сможет понять, что спектакль этот разыгрывается в театре марионеток, еще будет надеяться, что в нормальном, человечьем, с живыми людьми...

Все восемь подсудимых, проходивших по делу о «военно-фашистском заговоре», были приговорены к расстрелу. Приговор привели в исполнение немедленно.

В день расстрела Тухачевского и его товарищей заведующая бюро жалоб Комиссии советского контроля Мария Ильинична Ульянова умерла от кровоизлияния в мозг.

В тот же день народный комиссар обороны СССР подписал приказ № 96, в котором, кроме анализа текущего момента («Вся Красная Армия облегченно вздохнет, узнав о достойном приговоре суда над изменниками, об исполнении справедливого приговора»), была в сжатой форме изложена и программа на будущее: «Ускорим полную ликвидацию последствий работы врагов народа».

Лето было прекрасное, ласковое, теплое, и много замечательных событий происходило вокруг. В апреле МХАТ поставил замечательный спектакль «Анна Каренина». Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович и Жданов смотрели, и все им очень понравилось. В мае отважный планерист Расторгуев на планере комсомольца Грошева установил международный рекорд. Написал потом Сталину, поблагодарил за заботу о советском планеризме. Получил орден «Знак Почета». Полярная экспедиция Отто Юльевича Шмидта прилетела на Северный полюс. В газете была большая фотография: Сталин целует летчика Спирина. В июне Чкалов, Байдук и Беляков полетели через Северный полюс в Америку «по маршруту, намеченному тов. И. В. Сталиным». Участники узбекской декады продемонстрировали в Большом театре свое искусство и послали товарищу Сталину письмо, поблагодарили за заботу о Советском Узбекистане. Было принято постановление о создании ВСХВ¹ и по воле великого Сталина в Останкине развернулось строительство волшебного города.

Папаницы рапортовали о своих успехах с самой макушки планеты, а отец героя, Дмитрий Николаевич Папанин, писал в газете: «В золотое время живут наши дети...»

Замечательные успехи радовали и начальника Реактивного научно-исследовательского института Ивана Терентьевича Клейменова, но расстрел Тухачевского и других не выходил из головы. Непостижимо! Но сознались, сами во всем сознались! Однажды, заехав по делам к Алкснису, начал было разговор, ведь Алкснис сам судил...

— Кто бы мог подумать... — только и сказал Яков Иванович. Помолчал и добавил: — Ты-то хоть нас не подведешь? Мы ведь тебя с Лангемаком к ордену представили...

— А как я вас могу подвести? — рассеянно спросил Иван Терентьевич.

— Ты-то не сядешь?..

Страшно стало оттого, что Алкснис сказал это без улыбки.

Через несколько дней, вернувшись с работы, Иван Терентьевич сел в кресло и странно замер.

— Что ты, Ваня? Что-нибудь случилось? — тихо спросила Маргарита Константиновна.

Он долго разглядывал жену, а потом так же тихо ответил:

— Сегодня Яков Иванович оказался немецким шпионом.

— Этого быть не может, — выдохнула Маргарита Константиновна.

Он рассердился:

— Ты всегда всех судишь по себе! Почему этого не может быть? Сейчас все

¹ Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. Ныне — ВДНХ, Выставка достижений народного хозяйства.

может быть. Просто так, ни за что ни про что людей не арестовывают. Меня же не арестовывают, потому что не за что меня арестовывать...

Иван Терентьевич был не прав: было за что его арестовывать. Да — из крестьян, да — участник гражданской войны, да — большевик с 1919 года. А мало ли таких перерожденцев? В Берлине в торгпредстве работал? Не важно, до Гитлера, после Гитлера, но работал. А известно ли ему, что его сослуживцы по Германии Иосиф Зенек, Владимир Бельгов, Соломон Мушинский — враги народа? И уже обнаружен, выявлен целый клан шпионов-заговорщиков из Наркомвнешторга, и он, Иван Клейменов, — среди них. А когда нарком Ежов послал товарищу Сталину списки арестованных, приложив другие списки с пометкой: «Всех этих лиц проверяем для ареста», — товарищ Сталин слова эти раздраженно подчеркнул и написал рядом: «Не проверять, а арестовывать нужно».

А разве не писал в райком партии его же сотрудник по РНИИ Андрей Григорьевич Костиков, что в повседневной своей работе он, Иван Клейменов, опирается на беспартийных Лангемака и Королева, людей с темным прошлым? А разве через три дня после расстрела Тухачевского не получил нарком Ворошилов письмо от боевого командира, героя гражданской войны, который тоже работал в РНИИ, Леонида Константиновича Корнеева? Ведь там четко написано: «...только теперь в свете последних событий как-то ясно стало, что Клейменов тоже вредитель, стоявший за спиной подонков человечества, исключительных мерзавцев XX века: Пятакова, Тухачевского и других. ...Чем раньше, чем скорее будут собраны материалы о Клейменове и его сегодняшних покровителях, тем больше пользы получит страна».

Ну так как? Есть ли у наркома Ежова основания для ареста Ивана Терентьевича Клейменова?

В Доме Правительства, том самом прославленном Юрием Трифоновым «Доме на набережной»¹, где жил Клейменов с женой, двумя дочками-школьницами и породистым дратхаром Гертой — непрременной участницей всех охотничьих походов Ивана Терентьевича, в 1937 году арестовывали чуть ли не каждую ночь. Иван Терентьевич узнавал об арестах, прогуливая утром Герту. В доме было много собак, собаки перезнакомили хозяев, и теперь, если на утреннюю прогулку собаку вывёл кто-то другой, все уже знали, что хозяина ночью арестовали. Да и собака эта гуляла теперь не как прежде, а в отдалении от других.

Собаки ощущали происходящее лучше людей, ибо руководствовались глубинным инстинктом самосохранения и уже почти утраченным человеком первобытным предчувствием опасности. Эти животные качества одерживали верх над людским разумом, который не мог осмыслить происходящего, поскольку оно не подчинялось законам разума: все эти ощущения по природе своей были куда ближе миру животных, нежели миру людей.

Иван Терентьевич убедился в этом сам: когда ночью 2 ноября за ним пришли, Герта завyla, и Маргарита Константиновна отвела ее в дальнюю комнату.

Пришли трое. Один был совсем молоденький, просто мальчик. Клейменов сидел в кресле в той же напряженной, несвойственной ему позе, в какой сидел он в день ареста Алксниса. Иногда он тер руками глаза и, оглянувшись на Маргариту Константиновну, повторял:

— Ничего не понимаю... Ничего не понимаю...

Она присела к нему на ручку кресла.

— Уйдите! Не сговаривайтесь, — резко сказал один из пришедших. Тот, что постарше.

Клейменов обернулся к нему удивленно: его поразил не смысл произнесенных слов, а тон, каким они были произнесены. Никто и никогда в его доме не говорил так с ним и его женой.

Перерыли всю квартиру, три больших берлинских чемодана набили документами и фотографиями. Оживление вызвали два охотничьих ружья и еще больше — третье, с оптическим прицелом. Это было ружье Михаила Шолохова. Они познакомились еще в Германии, Иван Терентьевич показывал Шолохову Берлин, потом подружились и, когда Шолохов приезжал в Москву, вместе ездили на охо-

¹ Улица Серафимовича, дом 2.

ту. Оптический прицел очень вдохновил чекистов: подготовка теракта была налицо! Маргарита Константиновна собрала в старый желтый портфель белье, полотенце, мыло.

— Возьми денег, — сказала она Ивану Терентьевичу.

— Не надо, я завтра вернусь... Это какое-то недоразумение...

Обулся: ботинки и краги. На голову — пилотку, хотя было зябко: ноябрь...

Потом, уже весной, в большой камере Бутырской тюрьмы Маргарита Константиновна вместе с другими женщинами будет пристально вглядываться в узкую полоску свободного пространства под железом оконного козырька. Единственное окно камеры выходило во двор, где прогуливали заключенных. Видны были только ноги чуть пониже колен, и женщины по обуви искали своих мужей. Очень много сапог и расшнурованных ботинок промелькнуло перед ней, но краем не было ни разу...

Маргарита Константиновна не знала тогда и долго потом не знала — я назвал ей этот черный день лишь весной 1988-го, — что Клейменова расстреляли 10 января 1938 года — за сутки до ее ареста.

2

...Не надлежит ослабевать духом, но тем больше мысли простирать, чем отчаяннее дело быть кажется.

Михаил Ломоносов.

Весть об аресте Клейменова Королев принял спокойно: он ждал этого. Арест Ивана Терентьевича стал реальностью сразу после расстрела Тухачевского. РНИИ был детищем маршала-«вредителя», так где же искать его единомышленников, как ни в РНИИ? Правда, могли вспомнить конфликты замнаркома с начальником института. Ведь одно время Тухачевский даже снять хотел Ивана Терентьевича. Но ведь не снял! Поди теперь докажи, что недовольство маршала было искренним, что все это не игра. Иван Клейменов — вредитель! Ну и времена настали...

На следующий день был арестован главный инженер РНИИ Георгий Эрихович Лангемак.

Институт притих. Столь невероятные события не обсуждались даже в самом узком кругу. Никакого официального мнения по поводу случившегося не было. Вновь торжествовала старая добрая формула: «Зря не сажают». Кто следующий по рангу? Руководители отделов? Но их много. Получалось, что самым большим начальником становился теперь Федор Николаевич Пойда — специалист по порохам ракетам, недавно избранный секретарем партийного бюро. Пойда ждал, что следующим арестуют его. Когда в дверь постучали, он не вздрогнул, не испугался, потому что те, кого он боялся, в незапертые двери не стучали никогда. С удивлением увидел он на пороге главбуха Покровского, человека аполитичного и с партийным бюро никогда никаких дел не имевшего.

— Федор Николаевич, я к вам, — тихо сказал главбух. — Дело в том, что послезавтра надо зарплату выдавать. Все документы готовы, но чтобы в банке получить деньги, нужна подпись лица материально ответственного. — Он замолчал и сказал еще тише: — А лиц нет...

Что-либо подписывать вместо врагов народа Пойда не хотел, решил посоветоваться в райкоме. Там никто не знал, что в таких случаях надо делать, и порекомендовали съездить в ЦК. Но и там все как-то робели давать советы, и бедный Федор Николаевич зашагал в наркомат — благо тот был рядом. В наркомате долго ломали голову, как быть, и придумали в конце концов замечательное объяснение всей ситуации. Возможно, враги рассчитывали как раз на то, что если их избличат, то подписывать финансовые документы будет некому и деньги не дадут. Это неминуемо должно привести к недовольству честных, преданных делу Ленина — Сталина тружеников, к ослаблению их веры в силу Советской власти. Но враг жестоко просчитался! И пусть Пойда смело все, что надо, подписывает!

Зарплату выдали, но все равно жить без начальства оказалось чрезвычайно трудно. Подумав, Пойда снова пошел в наркомат. Там сказали, что директора ин-

ститута, куда ни шло, подыскать еще можно, но ведь главный-то инженер все-таки должен разбираться в ракетной технике, а таких людей в наркомате нет. «Придет-ся выдвигать из своей среды», — сказали Пойде.

Пойда собрал членов партбюро, и все вместе начали выдвигать. Кандидатур было не так много, быстро сошлись на том, что надо предложить на выбор двух человек: либо Победоносцева, либо Тихонравова. Через несколько дней из наркомата сообщили, что предложенные кандидаты отклоняются. Пойда посадил напротив своего заместителя Геворкяна, и стали они думать, кого теперь предложить, причем так, чтобы наверняка не отклонили. И чем больше думали, тем больше укреплялись в сознании, что есть, пожалуй, только один верный кандидат — Андрей Григорьевич Костиков.

А Андрей Григорьевич словно услышал зов своей судьбы. Все эти дни безвластия он был необыкновенно активен. Не дожидаясь никаких наркоматских решений, он сам начал отдавать административные команды, и, что еще более удивительно, его слушались!

Вскоре было назначено общее собрание. Повестка дня: ликвидация последних вредительств. Перед собранием Костиков подошел к Королеву:

— Мне кажется, вам, Сергей Павлович, следует выступить...

— Все, что я мог бы сказать о деятельности Клейменова и Лангемака, я уже сказал и Ивану Терентьевичу, и Георгию Эриховичу, — сказал Королев. — Выступить я не буду.

— Это вам даром не пройдет, — процедил Костиков.

Собрание было очень бестолковым. Костиков говорил о «банде, свившей себе гнездо в институте». Евгений Сергеевич Щетинков, сидевший рядом с Королевым, прошептал ему в ухо: «Вы слышали, чтобы бандиты вили гнезда?» Все выступавшие твердили о том, что теперь надо отдать все силы «залечиванию ран, нанесенных вредителями», но никто не знал, что это конкретно за раны, а потому не мог предложить столь же конкретного рецепта их залечивания. Потом вспомнили, что мать Лангемака вроде бы жила в Эстонии и Лангемак с ней переписывался. Но поскольку сам факт переписки сына с матерью обсуждать было нелепо, желанного кипения негодования и накала гнева опять не получилось. Собрание не удовлетворило Костикова. Он понимал, что два «врага народа» для целого института — это несерьезно, и надеялся получить на собрании хотя бы пяток новых кандидатур для дальнейшей разработки. Известно было, что тесть химика Чернышева жил в Греции, но Чернышев, как на грех, ушел из РНИИ, если и доказывать, что Чернышев враг народа, то это был бы уже не «свой», а «чужой» враг. Правда, потом наметилось было «дело Раушенбаха»...

Когда Борис Викторович Раушенбах перебрался из родного Ленинграда в Москву, жить ему было нигде. Все квартиры на Донской, предназначавшиеся для новых сотрудников РНИИ, давно разобрали, и он поселился у приятеля в квартире, которая принадлежала сестре Якова Михайловича Свердлова. Ее дочь была замужем за Ягодой, а когда его арестовали, она вернулась в эту квартиру. Ночью приехали с обыском, искали оружие, но нашли Раушенбаха с приятелем. Приятеля исключили из комсомола за то, что он не разоблачил Ягоду, а Раушенбаху дали строгий выговор за то, что он не разоблачил приятеля, который не разоблачил Ягоду. Увы, все понимали, что все это дело выглядит несолидно, мелочь это...

Костиков не был удовлетворен собранием еще и потому, что оно не укрепило его позиций в институте. Ему очень хотелось стать теперь начальником, тем более что достойных конкурентов он не видел: Глушко — человек Клейменова, чуть подтолкни — и упадет. Королев, правда, воевал с Клейменовым и Лангемаком, но основная тематика института — пороховые реактивные снаряды — его совершенно не интересует. Кроме того, он не военный и беспартийный. Да и характер его известен всем... Тихонравов никогда сам вперед не полезет. Оставался, правда, Победоносцев, мужик с характером и один из лучших специалистов института. Наверх он вроде бы не стремился, но как знать... Подрезать крылышки никогда не вредно. Очевидно, именно в это время сочинил Андрей Григорьевич письмецо, которое вполне могло стоить Юрию Александровичу жизни. «Существовала в институ-

те так называемая баллистическая лаборатория, — доверительно сообщал Костиков, — в которой занимались изучением процесса горения пороха в ракетной камере и продолжают заниматься по настоящее время. Причем основную роль, к сожалению, в этой лаборатории занимает инж. Победоносцев Ю. А., хотя начальником этой лаборатории является инженер коммунист тов. Пойда.

Во второй половине 1937 года, после того, как РС и РАБ (будем дальше для краткости так называть ракетн. снар. и ракетн. авиац. бомбы)¹ пошли на опытно-валовое производство, как бы случайно было обнаружено ненормальное поведение в известных условиях пороха при его горении...»

Далее наш популяризатор объясняет, к чему это может привести и как иссушить мощь Красной Армии.

Вся изюминка, конечно, в этом замечательном «как бы случайно». Невинная с виду оговорка — словно маленькая формочка, в которой отливалась пуля для Юрия Александровича.

Несмотря на это письмо, на то, что фамилия Победоносцева была выбита из Клейменова и Лангемака на допросах, Юрия Александровича не арестовали. Объяснить это так же невозможно, как объяснить, почему, наоборот, арестовали того или иного человека. Размышляя над такими вопросами, надо отказаться от попыток каких бы то ни было логических объяснений. Но сделать это трудно, и объяснения всегда ищешь. Единственное, что приходит тут на ум, это то, что Победоносцев был одним из главных, если не самым главным специалистом по реактивным снарядам, которые определяли тематику института и, бесспорно, были самым перспективным оружием из всех там разрабатываемых. Впрочем, такое объяснение не стоит выеденного яйца: как же тогда арестовали Лангемака?

По всему раскладу получалось, что нет серьезных конкурентов у Андрея Григорьевича. Поэтому вдвойне тяжело было разочарование, когда узнал он, что довольствоваться придется лишь креслом главного инженера. Начальником НИИ-З НКБ — так с конца 1936 года назывался институт, отданный Орджоникидзе вновь организованному Наркомату боеприпасов, — назначен был Борис Михайлович Слономер.

Это был толстый, спокойный, рассудительный человек и неплохой химик. В ракетной технике ничего не понимал. Очевидно, он был из породы везунов, потому что, вернувшись из республиканской Испании, где он работал техническим экспертом, Борис Михайлович не был объявлен испанским или каким-либо другим шпионом, а через несколько месяцев после назначения в РНИИ награжден орденом Ленина за реактивные снаряды, в создании которых не принимал решительно никакого участия. Слономер очень мало говорил, чтобы не сказать лишнего, ни с кем не ссорился, чтобы не нажить себе нечаянно врагов, и старался принимать как можно меньше самостоятельных решений, чтобы не делать ошибок, тем более в области, где он не считал себя компетентным специалистом. Уже то было хорошо, что он это понимал и использовал любую возможность «подковаться» в беседах со своими сотрудниками. Узнав, что Раушенбах, хоть и имеет строгий выговор за потерю бдительности, читает в библиотеке иностранные журналы, он вызвал его к себе и сказал с подкупающей откровенностью:

— У меня совершенно нет времени читать, и я вас очень прошу: приходите ко мне раз в неделю и рассказывайте, что делается на белом свете...

Как в данный момент руководить институтом, Слономер тоже не знал, писать доносы на своих подчиненных не хотел, положение его было очень сложным. Климент Ефремович Ворошилов еще накануне ареста Тухачевского отмечал: «Там, где вместо бдительности господствует беспечность и самоуспокоение, где упорная настойчивая работа над своим совершенствованием подменена бахвальством и зазнайством, там враги народа наверняка найдут благоприятное поприще своей шпионской, вредительской и диверсантской деятельности». Человек трезвый и объективный, Борис Михайлович сколько ни искал, не находил во вверенном ему уч-

¹ Разъяснение в скобках показывает, что адресат Андрея Григорьевича вряд ли был специалистом в ракетной технике, поскольку среди специалистов эти аббревиатуры были широко известны.

реждении ни беспечности, ни самоуспокоенности, ни бахвальства, ни зазнайства, а следовательно, не находил для врагов «благоприятного поприща» и даже в размышлениях своих приближался к тому опасному рубежу, когда ему начинало казаться, что никаких врагов, возможно, в институте вообще нет. Разумеется, мыслями этими он ни с кем не делился — его могли неправильно понять. Не снижая тем не менее бдительности, он посчитал, что коль скоро враг где-нибудь притаился, его отыщут люди более опытные, и внутренне к обнаружению такому был готов постоянно, поскольку врагом мог оказаться каждый. А потому со всеми держался Борис Михайлович приветливо, но не более. Когда к нему пришла жена Клейменова и попросила вернуть ее собственные облигации, которые хранились в сейфе Ивана Терентьевича, Слонимер мог предположить, что этот визит — своеобразная проверка его бдительности, и ответил твердо, что никаких облигаций врагам народа он возвращать не будет и просит оставить его в покое.

Немало написано уже о том, сколько замечательных людей погибло в годы сталинских репрессий, и почти ничего не сказано о том, как эти годы калечили души и отравляли мозг тех, кто оставался на свободе, как разлагали они людей добрых и порядочных, выедавая из сердец честь, достоинство и сострадание, как замораживали всякую смелость, да так, что и через десятки лет людей этих нельзя было разморозить, и уходили они из жизни запуганными и страхом этим униженные навеки.

Ни один сотрудник РНИИ после ареста Клейменова и Лангемака не пришел к ним домой — просто чтобы пожать руку жене и подарить кулек конфет девочкам.

Институт продолжал работать в прежнем ритме. В самой этой покорности, в том, что люди вели себя так, будто ничего не случилось, в том, что работа не приостановилась и даже не замедлилась, было что-то глубоко оскорбительное для человеческого достоинства. Никто не только не пытался защитить Клейменова и Лангемака, но никто даже не спрашивал: как это могло случиться? — потому что в самом вопросе этом уже был намек на какое-то сомнение. Королев конфликтовал с руководством все эти годы, но ведь были люди, все эти годы активно поддерживавшие начальника института и главного инженера, однако и они даже не пытались их защитить, и высшим проявлением гражданской смелости был скорбный вздох и невнятное бормотание шепотом: «Да... кто бы мог подумать...»

Ощущение тоскливой беспомощности, овладевшее Королевым после ареста Клейменова и Лангемака, не проходило. Для его активной, деятельной натуры ощущение это было особенно мучительным, но что надо делать в подобной ситуации, он не знал. В одном только уверен твердо: то, над чем он работает, стране нужно и работу необходимо продолжать, как бы дальше ни складывалась жизнь.

Главной заботой Королева в ту пору была подготовка к летным испытаниям ракетоплана РП-318 — первого в нашей стране летательного аппарата с жидкостным ракетным двигателем. Пока на стенде проходили так называемые «холодные» испытания всех систем, двигатель еще не включали. Правой рукой Сергея Павловича был Евгений Сергеевич Щетинков, который вел самые ответственные расчеты, а главным испытателем — Арвид Владимирович Палло. Вместе с инженером Касятовым и механиком Волковым он работал на стенде.

Как и весь институт, этот маленький коллектив в дни арестов Клейменова и Лангемака продолжал трудиться, словно ничего и не произошло. В середине ноября 1937 года отработали систему зажигания двигателя, завершив таким образом «холодную» часть испытаний. Королев составил заключение и пошел к Слонимеру подписывать бумагу в академию Жуковского: пора было вылезать с ракетопланом из рамок института, подключать военных авиаторов, так дело пойдет быстрее. Письмо на имя начальника академии Слонимер подписал, полагая, что письмо такое еще раз демонстрирует отсутствие всякого бахвальства и зазнайства во вверенном ему учреждении. «Ввиду отсутствия в НИИ № 3 специалистов

по тактике ВВС прошу Вашего разрешения на проведение соответствующей консультации специалистами ВВА с целью выявления возможных областей применения ракетных самолетов...»

Нетрудно представить, что за жизнь была в академии Жуковского осенью 1937 года после ареста Алксниса, начальника ВВС РККА. Однако положительный ответ пришел очень быстро, и Королев отвез в академию свои расчеты.

Тем временем на институтском стенде Арвид Палло под неусыпным наблюдением Щетинкова и Королева начал огневые испытания. Первый раз ничего не получилось: из-за дефектов форсунок горючего двигатель не запустился. Королев отрегулировал форсунки и 16 декабря назначил новые испытания. На этот раз все прошло благополучно. Пожалуй, даже более чем благополучно. Можно сказать, что просто здорово все прошло на этот раз: двигатель проработал 92 секунды!

Шесть испытаний подряд проходят без сбоев. В протоколах значится: «Двигатель запускался сразу, плавно, работал устойчиво и легко останавливался... Материальная часть вела себя безукоризненно».

Королев старался, чтобы Щетинков пореже приходил на стенд: в задымленном, пропахшем горелым железом помещении его начинал бить кашель. Но однажды в самое неподходящее время вдруг появился Щетинков:

— Сергей Павлович, вас Елена Наумовна просила зайти,— успел сказать, прежде чем судорожно задохнулся.

Это был плохой знак. Елену Наумовну Купрееву, секретаря-машинистку в приемной начальника, побаивался весь институт: она знала все и обо всех. Вместе с Клейменовым она работала в берлинском торгпредстве, и поначалу все считали, что Иван Терентьевич просто привел в институт свою секретаршу, с которой сработался, знает, доверяет. Но вскоре выяснилось, что и сам Клейменов чрезвычайно тяготеет присутствием в его приемной Елены Наумовны, что на работу он ее не приглашал, что ее «прислали». С этого времени к Елене Наумовне все стали относиться с почтительной настороженностью, одновременно стараясь по возможности обходить ее, что было трудно, учитывая ее местопребывание.

— Хорошая новость,— сказал Елена Наумовна, с улыбкой передавая Королеву пакет.

Пакет был вскрыт. В нем лежало довольно объемистое «Заклучение» Военно-воздушной инженерной академии. Королев быстро пробежал глазами отдельные абзацы:

«...горизонтальная скорость вдвое превосходит известные скорости...»

«...зона тактической внезапности, составляющая 80—120 км от линии фронта, может быть сокращена до 20—30 км...»

«...цифры уже сейчас обеспечивают реальную возможность вести воздушный бой...»

Дойдя до главки «Выводы», ногой нащупал стул, сел и читал, не отрываясь:

«Самолеты с ракетными двигателями дают вполне реальные основания предполагать, что в них могут быть осуществлены летно-технические данные, дающие резкое превосходство над самой совершенной техникой противника. Одни только данные горизонтальных и вертикальных скоростей говорят о превосходстве, абсолютно недостижимом по линии бензиновых двигателей при современных принципах их конструирования».

Светлые головы в этой академии! Королев прямо подпрыгнул на стуле.

Елена Наумовна улыбалась, глядя на него...

«Изложенное доказывает,— читал Королев,— что дальнейшая работа над ракетными двигателями и широкое внедрение их в авиацию является необходимым и сулит перспективы, о каких в других областях авиационной техники нельзя и мечтать.

Начальник кафедры тактики Военно-воздушной академии РККА полковник Шейдеман.

ВРИД начальника кафедры огневой подготовки Военно-воздушной академии РККА майор Тихонов».

Какие же молодцы Шейдеман с Тихоновым! Наверное, за всю жизнь не получал Королев о своей работе отзыва, столь решительно его поддерживающего. Он был необычайно обрадован и воодушевлен. Вместе со Щетинковым составляет Сергей Павлович подробные тезисы доклада «по объекту 318» — ракетному самолету. Почувствовав поддержку военных специалистов, Королев усиливает натиск: «Должен быть принципиально решен вопрос о нужности этого объекта и необходимости более форсированного развития его». В заключение вновь давит на Наркомат боеприпасов; понимая, что с ракетопланом новые хозяева института связываться не захотят, с них и реактивных снарядов довольно, он ставит вопрос категорически: «Необходимо теперь же принять определенное решение о необходимости и важности этого объекта и обеспечить все необходимые условия для работ. Половинчатые решения только повредят делу, так как при недостаточных темпах работ получение первых практических результатов будет отодвинуто на срок 5—6 лет, когда требования к объекту в связи с прогрессом тактики и техники могут совершенно измениться».

Почти ежедневно теперь на «горячем» стенде проводят испытания систем подачи, замер температур и других параметров двигателя. Кроме главного испытателя Палло, в них принимают участие Щетинков, Глушко, инженеры Шитов, Дедов, слесарь Иванов — ракетоплан словно сам собирал вокруг себя коллектив.

И результаты были весьма обнадеживающие. В декабре все ликовали, когда двигатель проработал 92 секунды. В марте он непрерывно работал уже 230 секунд — почти четыре минуты! На протоколах испытаний резолюции Королева: «Огневые испытания на полной мощности повторить».

До сих пор двигатель испытывали на стенде отдельно от остальной конструкции, отгородившись от него на случай взрыва броневой плитой. 19 марта впервые решили включить его прямо на раме ракетоплана, точно так, как он будет работать в полете. После зажигания раздался сильный хлопок и — тишина: двигатель не включился. Два дня возились с зажигательными пороховыми шашками. 21 марта, в понедельник, Королев сидел на стенде с Глушко допоздна.

— Если хлопок и не загорается, значит, температура зажигания недостаточна, — рассуждал Королев.

— Или нерасчетный режим подачи топлива, — добавил Глушко, — надо заменить завихрители горючего и померить температуру, которую дают шашки. Когда мы сможем это сделать? Завтра сможем?

В ночь со вторника на среду Глушко арестовали. Его бы раньше арестовали: показания на него были, не говоря уже о том, что он переписывался с Германом Обертом — лучшим ракетным специалистом Западной Европы. Но в марте судили «антисоветский правотроцкистский блок» во главе с Бухаринным, и тюрьма на Лубянке была переполнена. А как раз к концу месяца с правыми троцкистами все было уже кончено, с помещениями стало полегче...

Когда Валентину Петровичу предложили одеться и он стал зашнуровывать полуботинки, один из пришедших за ним сказал тихо, так, чтобы не слышал второй, уныло перетряхивающий книги:

— Одевайтесь теплее.

Ведь весна, уже совсем тепло, «одевайтесь теплее» — это значит надолго...

— Мама, успокойся, это какое-то недоразумение, — он говорил Марте Семеновне то, что говорили тогда все, к кому вот так приходили ночью...

В черной «эмке» везли его в просторный внутренний двор НКВД. Выходя, он заметил множество фургонов с надписью «Хлеб» и удивился, не понимая еще, что в этих фургонах сюда привозят людей.

В камере сразу стали знакомиться. Из темного угла кто-то спросил с вызовом, нервным, надтреснутым голосом:

— Ну и как?! Можете вы себе представить, что все мы — вот все эти люди — враги народа?

— Не знаю, — устало сказал Валентин Петрович.

Несмотря на высокую оценку военными из академии разработок Королева, в РНИИ дела с ракетопланом шли трудно. Если в первые годы работы института все научные споры, хотя и были окрашены личными симпатиями, идущими от землячества или традиционных антагонизмов военных и гражданских, оставались все-таки научными спорами, то с 1937 года вся их объективная техническая суть начисто испарилась. Королев конфликтовал с Клейменовым по принципиальным вопросам, но сейчас помнили только то, что Королев конфликтовал именно с Клейменовым, а суть конфликта никого не интересовала. Раз Королев конфликтовал с «врагом народа», его следует поддержать.

Сергей Павлович находился в замешательстве. Ему очень хотелось расширить и ускорить работы по крылатым ракетам и ракетоплану. Было ясно, что сделать это можно, встав на путь оголтелой политической спекуляции. Королев должен был громко сказать, что Клейменов и Лангемак мешали ему работать не потому, что не верили в жидкостные ракеты как оружие, не потому, что сомневались в реальности ракетного истребителя-перехватчика в ближайшие годы, а потому, что они были врагами, пособниками фашистов, сознательно приносили вред обороноспособности страны. Но он не мог так сказать даже ради ракетоплана!

Он видел, как подобная демагогия губит сейчас разработку реактивных снарядов. Как бы ни относился к ним Королев, он понимал, что работа эта нужная и перспективная. Победоносцев убедил его, что из них может вырасти грозное оружие. Но после ареста Лангемака работы по РС затормозились, поскольку их главным вдохновителем был «враг народа». Теперь, когда арестовали Глушко, Костиков сразу припомнил, что Королев консолидировался с врагом. Стало быть, ты враг, а значит, сколь бы ни были полезны и совершенны твои разработки, они могли рассматриваться только как продолжение «вредительства». Все это было настолько нелепо, что Королев, привыкший к горячим схваткам на техсовете, к спорам до крика, совершенно растерялся. Это были не научные споры, а какая-то гнусная и вредная игра, в которую он играть не умел и учиться не хотел.

Один из великих современников Королева — Владимир Иванович Вернадский — напишет в письме к жене Наталье Егоровне: «...Я считаю, что интересы научного прогресса тесно и неразрывно связаны с ростом широкой демократии и гуманитарных построений — и наоборот». Королев слов этих не знал, но чувствовал: вся эта «псевдомарксистская» борьба, поиски «вредителей» и зависимость оценок объективных технических решений от политических симпатий их авторов дело загробят.

Костиков, используя положение главного инженера института, зажал Королева крепко. Любое возражение руководству сразу трактовалось как саботаж, нежелание исправлять «последствия вредительства», а значит, как само вредительство.

Наступление на Сергея Павловича шло по всему фронту. Сначала его перевели из заведующих отделом в старшие инженеры. Потом вывели из совета Осоавиахима. Когда Геворкян хотел рекомендовать его в группу «сочувствующих», Пойда был категорически против.

— Но это один из самых толковых людей в институте, делу предан беспредельно! — кипятился Геворкян.

— Мало быть толковым, — уперся Пойда. — Королев в общественных мероприятиях участия не принимает, на профсоюзные собрания не ходит. Вспомни: на демонстрации и мавски его не затащить, да и с сотрудниками груб.

Из «сочувствующих» Королева исключили. Несмотря на это, Королев пишет 19 апреля 1938 года письмо в Октябрьский райком ВКП(б), жалуется на невыносимые условия работы. Ответа он не дождался, но о письме всем рассказал. Костиков несколько притих, понимая, что в столь смутное время все может в одночасье перевернуться с ног на голову, и уже он, прижимая ракетоплан Королева, станет «врагом народа», подрывающим оборонную мощь страны.

Но того жара, с каким боролся еще два-три года назад Королев за свои жидкостные ракеты и ракетоплан, в нем уже не было. Что-то в нем надломилось. После ареста Глушко он понял, что и его арестуют непременно. Он чувствовал это. По отрешенности, с какой говорил с ним Слонимер, по улыбке Елены Нау-

мовны, по все более агрессивной наглости Костинова, даже по тому, что механики на стенде старались как можно меньше контактировать с ним, вообще находиться в одном помещении.

А может, все это ему кажется, может быть, просто сдавали нервы: он чувствовал себя измазанным, заразным, уязвимым для всевозможных унижений, которым он должен подвергнуться за что-то гадкое и позорное, чего он не совершал, но о чем все, кроме него, уже знают и ждут, когда обо всем этом публично объявят. Да-да, очень часто казалось, что его ареста ждут!

Пожалуй, единственным, кто ни в чем, даже в мелочах не изменил своего отношения к Королеву, был Евгений Сергеевич Щетинков. Он вообще вел себя так, словно никаких арестов не было, разговаривал безо всякой оглядки, не боялся вспоминать и Клейменова, и Лангемака, и Глушко, в то время как для других они словно бы никогда и не существовали. У Щетинкова была репутация институтского юридного, который и царю может говорить в глаза, что думает.

— Ему хорошо, у него туберкулез,— со вздохом сказал о Щетинкове один из сослуживцев.

Евгений Сергеевич действительно был тяжело болен и внутренне подготовил себя к близкой смерти. Осенью и весной, набрав разной расчетной работы, уезжал он в Абастумани и там, в ласковых грузинских горах, переживал смертельную для него московскую слякоть. Нынешней весной был он совсем плох, но не торопился с отъездом. Очень хотелось напоследок сделать что-то по-настоящему интересное, что переживет его самого и, кто знает, может быть, поможет понять всем этим «бдительным слепцам», что нельзя арестовывать Королева, а напротив, надо, чтобы он мог работать с полной отдачей своих уникальных (в этом Евгений Сергеевич был убежден) сил и способностей.

В самом начале апреля Щетинков закончил большую работу — «Перспективы применения жидкостных ракетных двигателей для полета человека». Сорок страниц: весовой баланс, аэродинамика с учетом влияния звуковых скоростей, куча формул, графиков — он просчитал несколько вариантов...

Королев закрыл папку, прижал ладонью к столу, спросил грустно:

— Успеем ли, Евгений Сергеевич?

— А разве это важно? Другие успеют...

— Не согласен,— твердо сказал Королев.— Я сам должен успеть...

Намеченные еще с Глушко огневые испытания продолжались до начала лета. Двигатель работал на азотной кислоте, и это тормозило испытания: опыта обращения с агрессивными жидкостями не было, механики ходили с обожженными руками, в дырявых спецовках: постоянно что-то просачивалось, протекало, лопалось. Королев уже отметил, что на каком-то этапе стендовых отработок непременно наступает вот такая черная полоса неповиновения металла, и, как ни бейся, она будет длиться положенное богом время, а потом сама собой кончится. Щетинков говорил, что это мистика, а Палло был согласен с Королевым и считал, что как раз сейчас они вошли в эту черную полосу.

13 мая взорвались баки на ракетной торпедо 212, по счастью, никто не пострадал. Председателем комиссии по разбору причин аварии назначили Тихонову, чему Королев был рад: Михаил Клавдиевич не будет искать в этом деле «вредительства». Разбирались целый день. Через неделю Королев составил программу новых испытаний ракеты. Теперь нужно было очень постараться, чтобы что-то взорвалось. Определили новую систему водой проводил Палло. Вывало штуцер: давление высокое—до сорока атмосфер. Королев торопил механиков, ему хотелось поскорее вернуться к ракетоплану. Когда все отремонтировали, дал команду залить основные компоненты. Палло показал: подтекает.

— Я предлагаю проводить испытания,— бодро сказал Королев.

— Я не буду,— хмуро отозвался Палло.

— Это почему?

— Потому что все надо переделывать... Иначе, когда выйдем на расчетное давление, может рвануть.

— А может и не рвануть, правильно? — Королев обернулся к механикам Волкову и Косятову, ища у них поддержки.

Волков отвернулся. Саша Косятов молча вытирал ветошью руки.

— Александр Васильевич, но вы-то что молчите?! — спросил его Королев.

— Надежно все это, Сергей Павлович, — подумав, сказал Косятов.

— Я сам буду проводить испытания! — Королев взорвался: бунт на его корабле!

Механики хмуро разошлись по местам.

— Поехали! — крикнул Королев.

Палло, не отрываясь, смотрел на дергающуюся стрелку манометра. Громкое шипение заглушало все звуки и голоса. Потом звук этот сразу сломался, стрелка упала влево, Палло оглянулся и увидел: Королев стоит, прижав руки к лицу, и между пальцами льется кровь. В следующую секунду Королев выбежал во двор, выхватил носовой платок, прижал к окровавленному лицу и упал. Тут же вскочил, Палло держал его за плечи. Волков побежал вызывать «скорую». Косятов раздобыл бинты.

Вывавшийся кусок трубы ударил Королева в висок. Как выяснилось потом, он прошел по касательной, оставив трещину в черепе. Спасли Сергея Павловича буквально миллиметры.

Когда приехала «карета скорой помощи» (так долго на старинный манер называли эти автомобили с красными крестами на боку), Королев попросил:

— Свезите в Боткинскую, у меня там жена работает.

В двухместной палате травматологического отделения пролежал он недели две. Страшная синяя гематома почти закрывала один глаз. Рядом с ним лежал молодой парень, спортсмен, которому ампутировали ногу. Он не хотел никого видеть и ни с кем разговаривать. Ксана¹ приходила по нескольку раз на день. Приезжала мама.

Когда пришел Арвид Палло (он был единственным из сослуживцев, кто навестил его в больнице), Сергей Павлович сказал:

— Ты был прав: надо переделывать...

Долечивался он дома, на Конюшковской. Очень рвался в институт, а Ксана не отпускала. В их доме почти каждую ночь кого-то арестовывали. Идешь утром на работу, а на соседской двери висит свежая бирка с сургучной печатью. Подъезд, двор и вся улица были грязными, ветер таскал по мостовой какую-то бумагу, клубил пыль. И двор, и улицу теперь не убирали, потому что дворники ночью ходили как понятые, очень уставали от чужих слез и днем отсыпались. Ксении Максимилиановне казалось, что, пока Сергей сидит дома, пока вот эта белая повязка на голове, никто его не тронет. Но сколько ни уговаривала себя, трезвый ум ее шептал свое: «Тронут, все равно тронут...» Дочку отвезла на дачу к бабушке Соне: если все-таки придут, девочка не должна этого видеть.

На работу Королев вышел только в двадцатых числах июня. Новостей за время его отсутствия накопилось много. Приняты на вооружение в ВВС реактивные снаряды двух калибров. Развернуты работы по многозарядной реактивной установке². Сегодня почти весь институт работает на эту тематику. И, конечно, установку теперь сделают.

И еще одна новость, конечно, с этой связанная: 1 июня, когда Королев лежал в больнице, Слонимер издал приказ остановить работы по ракетоплану...

Прочитав приказ, Королев долго молчал, думал. Если теперь, после отличного отзыва из Военно-воздушной академии, издается такой приказ, значит, его решили зажать окончательно. Кто может помочь? Циолковского нет. Эйдмана нет. Алксниса нет. Тухачевского нет. Все его союзники теперь — Евгений Сергеевич, Арвид Палло, Борис Раушенбах, Саша Косятов. Не густо. Но победить необходимо, иначе вообще незачем жить. Надо писать Сталину. Сталин поймет, как все это важно...

В воскресенье 26 июня были выборы в Верховный Совет России. У избирательных участков толпился народ, молодежь танцевала, люди смеялись, и невольно хотелось верить, что все обойдется, что все невзгоды пройдут, начнется наконец нормальная жизнь...

¹ Ксения Максимилиановна Винцентини — первая жена С. П. Королева.

² Потом ее назовут «катюшей».

На следующий день по дороге на работу Королев развернул «Правду». Почти весь номер был посвящен выборам. Цитировалась записка, брошенная в избирательную урну: «Пусть долго живет товарищ Сталин! За дело Ленина — Сталина мы готовы на все! Так думает весь народ».

«...Мы готовы на все...»

Вечером, возвращаясь из РНИИ, Королев увидел у подъезда своего дома двух «топтунов» в темных душных костюмах. Ксана просила купить хлеба. Кроме французской булки, он купил новую патефонную пластинку. У них — патефон. В те годы обладателей патефонов было несравненно меньше, чем сегодня людей, у которых есть телевизор. Они с Ксаной подкупали разные пластинки, танцевальные — «Рио-Риту», «Брызги шампанского», — а сегодня он купил «Русские песни».

Ужинали на кухне. А потом завели патефон.

Во поле березонька стояла,
Во поле кудрявая стояла,
Люли-люли, стояла.
Люли-люли, стояла.
Некому березку заломати,
Некому кудряву...

Когда в дверь позвонили, он сразу все понял.

3

С недоумением спрашиваешь себя: как могли жить люди, не имея ни в настоящем, ни в будущем иных воспоминаний и перспектив, кроме мучительного бесправия, бесконечных терзаний поруганного и ниоткуда не защищенного существования? — и, к удивлению, отвечаешь: однако ж жили!

Михаил Салтыков-Щедрин.

Ивана Терентьевича Клейменова, арестованного в ночь со 2 на 3 ноября 1937 года, во внутренней тюрьме НКВД словно забыли: на первый допрос он был вызван через сорок три дня после ареста — 15 декабря.

За жаркое для Ежова и его людей лето 1937 года уже был накоплен некоторый опыт обращения с такими людьми, как Иван Терентьевич. А это сложный контингент: из крестьян, упрямые, понохавшие кровь на гражданской войне. Именно осенью, в октябре—ноябре 37-го, работы на Лубянке было невпроворот, и до Клейменова просто руки не доходили. А с другой стороны, такого, как он, полезно было «образовать» в камере, дать ему послушать других, притомить его так, чтобы он уже ждал допроса, а потом вызвать неожиданно и с налета, с азартом, когда самому кровь бросается в голову, так его ухватить, чтобы сразу весь дух из него вышел! Было среди следователей даже такое негласное соревнование: у кого с какого допроса подпишет. И мастера настоящие были. Ушиминский Зиновий Маркович, например. Как подлинный артист, он даже псевдоним себе придумал, под которым был известен в широких кругах ежовцев: Ушаков. Он чуть ли не с первой атаки повалил и Фельдмана, и Эйдемана, и самого Тухачевского. Но как и в каждом бою, время атаки тут тоже надо точно выверить.

Тактика эта себя оправдывала. «А почему действительно меня не вызывают?» — начинал думать узник в смятении, ибо человек — существо общественное, а за решеткой — общественное вдвойне. Лев Толстой говорил, что человек многое может выдержать, если видит, что и другие люди живут так же, как он. Невинный человек, не понимающий, почему и за что его посадили, по издавна бытующей на Руси практике законов не ведающий, имеющий самое смутное представление и о своих правах, и о своих обязанностях и вообще получивший все свои знания о тюремной жизни в лучшем случае от графа Монте-Кристо, естественно, ищет поддержки у окружающих, прислушивается к их советам и делает выводы из открывшегося ему чужого опыта.

Конечно, существовало немало тюремных «университетов», но все их программы стремились к одной цели: малыми жертвами достичь наилучших результатов. А вот пути к этому предлагались самые разные. Там, где обучался Клейменов, полагали, что надо быстро, не доводя дело до серьезных увечий и, не дай бог, до Лефортовской тюрьмы, во всем признаваться, называя при этом сообщниками тех, кто уже сидит, создавать этаким замкнутый «хоровод»: ты показал, что я шпион, а я — что ты шпион. А вот когда дело передадут в суд, тут уж надо все отрицать. Это приведет суд в замешательство, начнут разбираться, увидят — не смогут просто не увидеть! — что кругом «липа», и отпустят, конечно...

Многие и многие тысячи людей заплатились жизнью за эту «тактику». Но винить авторов ее было бы жестоко, потому что во всех своих построениях они исходили из соображений, что их противник наделен как минимум человеческой логикой, и заведомо идеализировали его конечные цели.

Если для Сталина повальные репрессии были продуманной политикой, то непосредственные реализаторы этой политики осмыслением ее никогда себя не утруждали. Им прежде всего требовалось придумать Дело, нахватать как можно больше людей, уничтожить их с соблюдением некоего ритуала и отрапортовать. Существовал термин: «Слипнуть дело». Именно «слипнуть», а не «слепить», поскольку новый этот глагол — «липовать» — был производным не от «лепки», а от «липы». А раз так, «липили» первоначально в самых общих чертах, с употреблением формулировок самых расплывчатых, скажем — «заговор». Что за заговор, против кого, с какой целью — это уже детали. И участники «заговора» — тоже детали. Имеет человек к нему отношение или не имеет — не суть важно. Надо просто наполнить оболочку «заговора» каким-то человеческим содержанием, не важно каким. Известно немало случаев, когда приходили человека арестовывать, а его нет — уехал. Не скрылся, не спрятался, а просто уехал на курорт или в деревню. Но, даже зная куда он уехал, его обычно не искали — вместо него арестовывали кого-то другого. В списках «врагов народа, окопавшихся во Внешторге», были Сердюков и Тулулов. Николай Сердюков, друг Клейменова, работал в одном из московских НИИ. Когда его исключили из партии и он понял, что вот-вот посадят, он уехал из Москвы в другой город, поступил на завод, и о нем забыли, точнее, руки до него не дошли. А Тулулова — председателя приемной комиссии берлинского торгпредства — просто не нашли. И искать не стали: пропал, ну и черт с ним.

Но ведь арестованные всего этого не знали! А хоть бы и знали, что бы изменилось? Мог бы Лангемак, например, даже зная о предстоящем аресте, скрыться? Да нет, конечно! Потому что по его понятиям чести это уже означало бы признание за собой некой вины. Именно благородство жертв было главным помощником палачей: никто никуда не бежал, все сидели на своих местах и наделись, что их-то не арестуют, поскольку оги-то ведь не вредители! Не бежали, потому что никак не могли уяснить для себя главного: во всем происходящем никакой нормальной человеческой логики нет, и всякие их умственные построения, рассчитанные с ее учетом, заведомо негодны.

Положение Ивана Терентьевича было мучительно еще и потому, что, ожидая многие дни допроса, он все-таки не мог к этому допросу подготовиться: сколько ни вспоминал, никаких грехов за собой не находил, не понимая, что для его уничтожения никакие реальные грехи и не нужны! Ощущая он себя хоть в чем-то виноватым, он мог бы придумывать разные варианты оправдания, а так неизвестно, к чему надо было ему готовиться. Единственное, что он мог предположить, так это то, что посадили его за знакомство с врагом народа Тухачевским, у которого он находился в подчинении несколько последних лет. Но ведь невозможно же арестовать всех, кто был связан с Тухачевским (собственно, почему невозможно?), ведь в подчинении у него была практически вся Красная Армия!

Можно даже предположить, что в то время, когда Ивана Терентьевича арестовали, дела ему окончательно еще не «слипили». Дальше-то все получилось исключительно удачно для следствия, потому что Клейменов стал как бы мостиком, соединяющим два «змеинных гнезда врагов и диверсантов» — Внешторг и РНИИ.

Внешторговцев начали арестовывать давно. Да и то сказать, кого, как не их, легче всего было заманить в свои сети Троцкому в Мексике, Пилсудскому в Варшаве и Гитлеру в Берлине? Клейменов знал, что еще в 1936 году арестован был Леонтий Александров, а в мае 37-го — помощник военного атташе в Берлине Иосиф Зенек. Но он не знал, что в одну ночь с ним арестовали заместителя председателя Технопроимпорта Бориса Шапиро, через три дня — начальника экспертного управления Шмавона Гарибова, потом председателя Техноимпорта Киселева, Николая Гасюка из Берлинского торгпредства, Алексея Хазова, Мордуха Рубинчика, Владимира Бельгова и других ответственных работников Наркомата внешней торговли. Все они на следствии признались во вредительстве и шпионаже, но, кроме Рубинчика, никто даже не упомянул фамилии Клейменова. Избитый до полусмерти, Рубинчик «признался» 14 ноября 1937 года, что по совместной нелегальной деятельности был связан с Клейменовым и Бельговым, которые работали в Берлине. Но когда начали дознаваться, как он встречался с Троцким и сколько миллионов лир получал за свои рапорты в Рим, Рубинчик опять принялся за старое: Троцкого никогда в жизни не видел, итальянским шпионом не был и никаких денег не получал. За такое упрямство его, как и большинство других арестованных внешторговцев, расстреляли. Второй раз фамилия Клейменова была произнесена на допросе Лангемака 15 декабря.

Главной темой раздумий узников внутренней тюрьмы НКВД была: «Какая же сволочь меня посадила?!», «Кто написал донос и что в нем написано?!» Между тем раздумья эти были совершенно пустопорожними. Конкретных инициаторов ареста могло и не быть, а мотивы обвинения даже человек с предельно развитым воображением представить себе был не в состоянии. Великого генетика Николая Ивановича Вавилова арестовали, в частности, на том основании, что отец его якобы жил в Германии. А отец нигде не жил, потому что к тому времени, вернувшись из Германии, умер в России.

Клейменов был арестован 2 ноября, а первые невнятные обвинения в его адрес прозвучали 14 ноября и 15 декабря, то есть уже после того, как он был арестован. Поэтому чей-то навет был для Лубянки безусловно желателен, но вовсе не обязателен, как и разные другие тормозящие набранное ускорение юридические «условности». Тому же Клейменову постановление об избрании меры пресечения сочинили только через месяц после ареста. И у прокурора утвердить забыли. И предъявить обвинение Ивану Терентьевичу на предварительном следствии тоже забыли. Ну, что сделаешь: работы невпроворот. При такой загрузке просто невозможно соблюсти все юридические тонкости. А потом, не зря же говорил генеральный прокурор товарищ Вышинский: «Надо помнить указание тов. Сталина, что бывают такие периоды, такие моменты в жизни общества и в жизни нашей в частности, когда законы оказываются устаревшими и их надо отложить в сторону».

Дело Клейменова вел Соломон Эммануилович Луховицкий, натуральный садист¹. И хотя Клейменов после долгих раздумий и советов с товарищами-сокамерниками решил, что на предварительном следствии плести на себя небывальщину все равно, очевидно, придется, такого мордобоя с первых минут допроса (атака Луховицкого была рассчитана на ошеломление и полное подавление противника) не ожидал — все-таки он участник гражданской войны, ромбы в петлицах. И как бы ни готовил себя Иван Терентьевич, не рассвирепеть он не мог, а потому и был избит до потери сознания, пришел в себя только после уколов, когда позвали фельдшера, едва дотачился до камеры, лег пластом и не поднимался до следующего допроса. На следующий день, 16 декабря, Луховицкий показал Ивану Терентьевичу признания Рубинчика и Лангемака и спокойно объяснил, что дело его

¹ В 1951 году Луховицкий был уволен из органов госбезопасности по болезни. В 1955 году, когда началась реабилитация осужденных сотрудников РНИИ, выяснилось, что Луховицкий применял запрещенные законом методы ведения следствия, зверски избивал заключенных, лишал их сна и пищи, фальсифицировал протоколы допросов. Он обвинялся главной военной прокуратурой и в необъективном расследовании дела Клейменова, «повлекшем наступление тяжелых последствий». Заместитель главного военного прокурора Терехов направил секретарю МГК КПСС Фурцевой письмо с просьбой привлечь Луховицкого к партийной ответственности, поскольку судить его после Указа Президиума Верховного Совета СССР об амнистии от 27 марта 1953 года нельзя. Приказом по КГБ от 21 апреля 1955 года Луховицкий был уволен из органов госбезопасности уже не по болезни, а «по фактам, дискредитирующим высокое звание офицера». Пенсия этому заслуженному труженику была снижена до 1400 рублей.

безнадежно, если он не облегчит своей участи чистосердечным признанием. А потом так же спокойно сказал, в чем конкретно надо признаться. А признаться надо было в том, что в антисоветской организации в Берлинском торгпредстве он, Клейменов, состоял и сам завербовал в нее Киселева, Сердюкова и Тулупова. Надо признаться и в том, что в организации этой состояли Александровы — Леонтий и Степан, Алексей Хазов, Лазарь Газарх, Иосиф Зенек. И еще надо признаться в том, что в РНИИ тоже была антисоветская организация и в организации этой он, Клейменов, установил «контрреволюционную связь» с Лангемаком и от него узнал, что в организацию эту входят Валентин Глушко, Сергей Королев, Юрий Победоносцев и Леонид Шварц¹.

Вспоминая в камере все детали допроса, Иван Терентьевич подумал, что Луховицкий даже не спросил, в чем же конкретно заключалась его «контрреволюционная связь» с Лангемаком и что это вообще за связь. Лангемак был его заместителем, и «связь» у них была ежедневно. Это же замечательно: тем абсурднее будут выглядеть на суде все обвинения!

Следователь Георгия Эриховича Лангемака, 28-летний младший лейтенант Михаил Николаевич Шестаков², был, очевидно, еще не столь опытен и искусен, как его коллега Луховицкий, и с Лангемаком ему пришлось крепко повозиться: тот упорно отказывался признать себя виновным хоть в чем-то. Только на двенадцатый день уже теряющий связь событий и временами впадающий в состояние странного динамического беспамятыства, когда он мог ходить, сидеть и говорить, находясь в то же время как бы за порогом мысли, Лангемак подписал заявление о том, что он «решил отказаться от своего никчемного запирательства и дать следствию показания о своей контрреволюционной деятельности».

Да, действительно, еще в 1934 году начальник института Клейменов завербовал его в антисоветскую организацию и он узнал от Клейменова, что в ней уже состоят инженеры Глушко, Королев и Победоносцев. Ну а дальше все вместе начали вредить, срывать сроки разработок нового вида вооружения, в частности тормозили сдачу армии реактивных снарядов, стартовых ускорителей, двигателей на жидком кислороде, которыми занимался Глушко, и так далее...

Прошло много часов, прежде чем ясность сознания Георгия Эриховича восстановилась, все происходящее расставилось по своим местам и вернулась обычная способность к холодному анализу. Лангемак не мог не радоваться своей находчивости на допросе. Как ловко удалось обвести вокруг пальца Шестакова, когда он обвинил Глушко в саботаже с кислородными двигателями! Ведь когда на суде начнут разбираться, сразу увидят, что Глушко всегда был противником этих двигателей, даже в книжке об этом писал и сам никогда двигатели на кислороде не строил! И как он, Лангемак, мог тормозить работы над реактивными снарядами, если совсем недавно, в марте нынешнего года, как раз за эти работы он приказом народного комиссара оборонной промышленности был премирован десятью тысячами рублей! С первого взгляда ясно, что все его показания — полнейшая чепуха. Не заметить этого суд просто не сможет. И вообще, бытовавшая в его камере мысль о том, что, признаваясь, надо называть как можно больше «соучастников», очевидно, не столь уж абсурдна. Действительно, невероятное количество «врагов народа», соизмеримое с самим народом, оставшимся на свободе, должно в конце концов убедить Сталина в том, что Ежов — преступник. Ну как, скажем, может быть крестьянский паренек Клейменов врагом Советской власти, если он дрался за нее на фронте, если власть эта все ему дала: образование, положение в обществе, высшее командирское звание...

¹ Сотрудники РНИИ, Леонид Эмильевич Шварц, один из создателей снаряда знаменитой «катюши», не был репрессирован, как и Юрий Александрович Победоносцев (1907—1973). Шварц погиб в 1944 году при исполнении служебных обязанностей в авиационной катастрофе.

² Старший помощник главного военного прокурора П. Лепшин, занимавшийся репрессиями Г. Э. Лангемака, писал 7 января 1956 года в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС: «...считаю, что за фальсификацию обвинения против Лангемака Шестаков должен понести партийную ответственность». Как объяснили юристы, судить его было бесполезно ввиду истечения срока давности его преступлений.

Мысль об очевидной вздорности всех его признаний настолько крепко засела в голове Георгия Эриховича, что не стоило большого труда убедить его не отказываться от своих показаний на суде. Он и не отказывался. Ждал, что вот начнут читать дело и... А Клейменов отказался. Прямо сказал: все, что говорил, — ложь! Виновным себя не признаю! Ему снова прочли показания Рубинчика и Лангемака.

— Это тоже все ложь! — твердо стоял на своем Иван Терентьевич. — Я ни в чем не виноват.

Суд длился минут 15—20: понедельник вообще день тяжелый, а тут еще очень много дел, и входить во все тонкости судьи просто не могли. Да и надо ли, когда и так все ясно?..

Иван Терентьевич Клейменов и Георгий Эрихович Лангемак были приговорены к расстрелу. Приговор обжалованию не подлежал и приводился в исполнение в день оглашения. Стояли сильные морозы, и, когда везли на расстрел, Клейменову в пилотке было холодно.

Как раз в январе 1938 года Сталин задумывался о чистоте своей короны. Положение сложное: с одной стороны, все, что происходит в стране, должно происходить с ведома и благословения вождя, с другой — теперь, когда он обмазал кровью для гарантии будущей преданности возможно большее количество самых приближенных соратников — «людей с сильными лицами», как назвал их в 1939 году Иоахим Риббентроп, — от всей этой жути надо отмежевываться. На январском Пленуме было признано, что ошибки имели место. Было опубликовано специальное постановление «Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков». В пункте 7 этого постановления были просто замечательные слова: «Обязать партийные организации привлекать к партийной ответственности лиц, виновных в клевете на членов партии, полностью реабилитировать этих членов партии и публиковать в печати свои постановления в тех случаях, когда предварительно в печати были помещены дискредитирующие члена партии материалы».

И действительно, кого-то выпустили из тюрьмы, кого-то восстановили в партии: в 1938-м — 77 тысяч, на следующий год — еще 65 тысяч, но на деле ничего не изменилось, аресты продолжались, может быть, только поменьше стали писать о том, как туго приходится врагам в «ежевых рукавицах». Ничего не изменилось и в методах следствия. Валентина Петровича Глушко били в марте ничуть не меньше, чем его начальников в декабре. Однако ход самого «Дела РНИИ» значительно замедлился: обвинительное заключение Глушко комиссар госбезопасности III ранга НКВД Амаяк Захарович Кобулов завизировал только через год после ареста Валентина Петровича. А год тогда — срок огромный!

В НКВД была своя табель о рангах: дело делу рознь. Глушко, Королев, которые мелькали в показаниях Клейменова и Лангемака, — кто они такие? Это сейчас мы читаем и ужасаемся, кого посадили, — академики, лауреаты, гордость ракетной техники, пионеры мировой космонавтики! Но тогда-то это были безвестные инженеришки какого-то там института¹. Через пятьдесят лет после описываемых событий на мой вопрос: «Почему в 1937—1938 годах из сотен сотрудников РНИИ посадили всего семерых?» — Мария Павловна Калянова, секретарь комсомольской организации РНИИ в 1938 году, ответила: «Думаю, потому, что нас не принимали всерьез...»

И немалая доля правды в этом объяснении есть. Расстрелами Клейменова и Лангемака РНИИ был обезглавлен. Теперь предстояла подчистка, отлов мелкой рыбешки. На такой работе трудно проявить себя ярко, заметно. Ну кто такие эти мальчишки со своими огненными горшками, кому охота с ними возиться? Надо брать пример с того же Соломона Луховицкого, который «слипил» дело наркомпищепрома. Наркома Гилянского подвел под расстрел! Это же вся страна читает и дрожит! А тут какие-то газогенераторы, прости господи. Короче, дальнейшая разработка «Дела РНИИ» не сулила ничего интересного.

¹ После ареста Королева были арестованы еще три сотрудника РНИИ.

Однако не прислушаться к голосу научно-технической общественности тоже нельзя. А научно-техническая общественность была представлена Андреем Григорьевичем Костиковым. «Ежовые рукавицы» словно специально корчевали все препятствия на его пути. Арест Клейменова и Лангемака делает Костикова главным инженером, а затем и начальником института. Арест Глушко убирает реального конкурента и самого последовательного научного оппонента. Только Королев, этот вечно спорящий, упрямый, драчливый Королев, остается, пожалуй, единственно реальной угрозой его безраздельному владычеству в ракетной технике. И пока будет Королев, полновластным хозяином в институте ему не быть.

— Это вам даром не пройдет...

Незадолго до смерти, захав к вдове Клейменова Маргарите Константиновне, Королев скажет ей:

— Таких, как Костиков, надо добивать безжалостно. Его счастье, что умер...

Через тридцать с лишним лет после описанных событий деликатнейший, очень осторожный в своих оценках Евгений Сергеевич Щетинков скажет:

— У меня впечатление, что Костиков причастен к арестам в РНИИ...

В 1957 году, когда в 23-м томе второго издания Большой Советской Энциклопедии была опубликована статья о Костикове, Королеве и Глушко — тогда уже члены-корреспонденты Академии наук СССР, Герои Социалистического Труда, — отправили в редакцию БСЭ письмо, в котором рассказали об истинном вкладе Андрея Григорьевича в нашу ракетную технику. В этом письме, в частности, говорилось: «В 1937—1938 гг., когда наша Родина переживала трудные дни массовых арестов советских кадров, Костиков, работавший в институте рядовым инженером, приложил большие усилия, чтобы добиться ареста и осуждения как врагов народа основного руководящего состава этого института...»

Так что «помощь научно-технической общественности» имела место, и тем не менее «Дело РНИИ» двигалось в темпе, который не мог не опечалить Андрея Григорьевича. При самом беглом чтении дел сразу бросилось в глаза: Лангемак утверждает, что во вредительскую организацию его вовлек Клейменов, от которого он узнал, что там же уже состоят Глушко и Королев. Клейменов доказывает, что о вредительстве Глушко и Королева он узнал от Лангемака. Минуточку, почему никто не обращает внимания на одну маленькую деталь: коль скоро и в показаниях Клейменова, и в показаниях Лангемака везде эти две фамилии рядом: Глушко — Королев, то почему же Глушко арестован, а Королев разгуливает на свободе? Ну хорошо, ну не разгуливает, а лежит в больнице с трещиной в черепе, дома долечивается. Но хватит уже, полежал, пора брать...

Не сразу остановили патефон: «Некому кудряву заломати...».

Один из вошедших поднял иглу, двинул рычажок стопора.

Королев сидел на стуле посередине комнаты. Вошедших удивило, что он не успокаивает жену, не говорит тех неперемненных слов, которые говорят все, слов, которые они слышат каждую ночь: «Это — недоразумение, все завтра же разъяснится...» Обыск скучный, по давней, в самодержавное прошлое уходящей схеме: от дверей по часовой стрелке. Обыски делали, как правило, формально: искавшие знали, что ничего интересного для себя не найдут. У военных иногда еще попадалось незарегистрированное оружие — прямое доказательство террористических намерений, а у штатских — от силы заваливавшаяся где-нибудь брошюрка Троцкого. Но редко, время было такое — только объявят в газете: «враг», — все тут же сами сжигали, выбрасывали, портреты в книгах заливали тушью...

Ксения Максимилиановна заметила: тот, который делал обыск, нагнувшись над ее туалетным столиком, ловко вытянул из открытой шкатулки малахитовые запонки, которые ее отец подарил Сергею на свадьбу. Она тоже сидела на стуле посередине комнаты.

— Соберите вещи, — мирно сказал второй чекист, безо всякого интереса оставший книги.

Третий, подсев к письменному столу, писал протокол. Дворник дремал в прихойе на табуретке.

Ксения Максимилиановна не сразу сообразила, о каких, собственно, вещах идет речь. Потом поняла: вещи Сергею в тюрьму. И в этот момент испугалась по-настоящему, испугалась за Сергея, за себя, за Наташку, вообще за всю будущую жизнь. Сколько надо собрать вещей и каких, она не знала, а спрашивать не хотела. Не то чтобы боялась, а не хотела, ей неприятно было всякое, пусть даже вынужденное, общение с этими людьми.

Обыск и сочинение протокола продолжались до утра: Сергей начал одеваться, когда за окном уже было совсем светло, позвонкивали трамваи. Написал доверенность на получение зарплаты. Надел кожаное пальто, еще гирдовское, вечное. Уходя, в прихожей обнял Ксану и, прямо глядя ей в глаза, сказал спокойно и просто:

— Ты знаешь: вины за мной никакой нет.

4

Арест Королева санкционировал Рагинский — заместитель Генерального прокурора Вышинского. К великому сожалению Андрея Януарьевича, когда Ежова арестовали и трон Вышинского качнулся, Рагинским пришлось пожертвовать. Постановление на арест Королева писал Жуковский — это человек Ежова. Основания для ареста: показания Клейменова, Лангемака, Глушко — все трое называли Королева участником контрреволюционной троцкистской организации внутри РНИИ, «ставящей своей целью ослабление оборонной мощи в угоду фашизму». Следствие по делу Сергея Павловича вели младшие лейтенанты, оперуполномоченные Быков и Шестаков.

Фамилия Шестакова нам уже встречалась: он «липил» Лангемака. На мой запрос в управление кадров КГБ пришел ответ с указанием адреса Михаила Николаевича — оказывается, жив-здоров. Я немедленно к нему поехал.

...Дверь отворил невысокий крепкий человек с живыми карими глазами. На аккуратной голове его темные волосы резко, как словно бы это тонзура монаха, переходили в лысинку чистого блеска. Михаилу Николаевичу шел 80-й год, но в движениях его не было ни старческой заторможенной немощи, ни мелкой прерывистой суетливости — спокойный, опрятный, сильный еще отставной полковник.

Познакомились. Со всей возможной деликатностью сообщил я о цели моего визита, упирая главным образом на то, что меня более всего интересует поведение Королева во время допросов. Каким он был: подавленным или, напротив, агрессивным, молчаливым, словоохотливым, оживленным, угрюмым?

— Какого Королева вы имеете в виду? — спросил, в свою очередь, Шестаков, глядя мне в глаза честным, прямым взглядом.

— Сергея Павловича. Из РНИИ. Впоследствии — Главного конструктора ракетно-космической техники...

— Не помню... Решительно не помню.

— Но ведь Королев сам называет вас своим следователем в письме к Сталину. Согласитесь, вряд ли, находясь в тюрьме, он рискнул бы писать неправду товарищу Сталину.

— Удивительно. Здесь какая-то ошибка...

— Но и в письме к вашему непосредственному шефу — Лаврентию Павловичу Берии — Королев тоже называет вашу фамилию. Берия хорошо знал своих сотрудников, и если бы это была неправда, он мог легко изблечить автора письма.

— Но я не помню Королева!

И вдруг ужасная мысль пришла мне в голову: а может быть, Шестаков говорит правду? Может быть, он действительно не помнит Королева? Может быть, раскрыв в январе 1966 года «Правду» и увидев портрет академика в траурной рамке, он не нашел знакомых черт?

Я помню всех, кому давал пощечину, даже мальчишек в школе. Существует только одно объяснение того, как мог Шестаков действительно забыть человека, которого он избивал (а что, как не побои, имелось в виду под термином «физические репрессии» в письме Королева к Сталину и Берии?): таких людей было много! Их было так много, что все их окровавленные лица превратились в памя-

ти его в какой-то сплошной мокрый красный ком. Эта страшная работа была столь ordinaria для него, неинтересна, а главное — длилась так долго, что требовать, чтобы он запомнил свои жертвы, так же нелепо, как требовать от кассирши универмага, чтобы она запомнила лица всех своих покупателей.

— Да я вообще не занимался следствием, — продолжал тем временем Шестаков, — я был на оперативной работе.

— А в чем она заключалась?

— Ну, это уже наши профессиональные дела...

— Михаил Николаевич, но если вы не занимались следствием, зачем же вас в 1955 году вызывали в Главную военную прокуратуру, где состоялся разговор малоприятный, помните? Дело Лангемака...

Темные глаза метнулись: он не ожидал, что я и это знаю. Движение было быстрым, как щелчок затвора фотоаппарата, но он «засветился» в этот миг. Теперь я знал, что он помнит Лангемака, и Королева тоже не может не помнить. Ну, слава богу, а то мы уж было начали возводить на человека напраслину...

— Видите ли, я действительно давал показания по делу Лангемака, поскольку однажды заходил в кабинет, где его допрашивали...

— Вот и славно! Расскажите, какой это был кабинет: большой, маленький, куда окна выходили, какой свет, где сидел Лангемак, а где следователь?

Шестаков улыбнулся:

— Помилуйте, все это было пятьдесят лет назад. Неужели вы могли бы запомнить комнату, в которую вы случайно зашли пятьдесят лет назад?

— Ну, хоть и пятьдесят лет прошло, но Лангемака вы помните. А Королева не помните?

— А Королева не помню. Да, много лет пролетело... И не заметил, как годы бегут, а сейчас вот здоровье никудышное, на днях опять в госпиталь кладут.

Потом пришлось выслушать жалобы отставного полковника на нашу медицину.

На том мы и расстались с Михаилом Николаевичем.

Следователя Быкова разыскать не удалось, жив ли он — неизвестно. Единственный человек, кто может сегодня рассказать о Королеве во время следствия, — Шестаков. Он не расскажет никогда. Я прочитал много дел того времени, дел, которые вели следователи Клейменова, Лангемака, Глушко. Валентин Петрович Глушко неохотно, кратко, но все-таки рассказал мне, что вытворяли с ним на Лубянке. Не думаю, что для Королева были сделаны какие-нибудь послабления — кто бы и зачем их делал? Я не знаю точно, как все было с Королевым, но я знаю, что было с десятками людей равного с ним бесправия в то же время и в том же месте.

Уверен, что Королева били и мучили. В ящике письменного стола, как рассказывал Валентин Петрович Глушко, у следователя всегда лежала разная пыточная мелочь: куски резиновых шлангов с металлом внутри, плетенки из кабеля со свинцовой изоляцией, бутылочные пробки со вставленными внутрь булавками так, что жало выходило наружу на два-три миллиметра. Наверняка Сергея Павловича ставили на «конвейер», как ставили Туполева, — это когда заключенный стоит круглосуточно, а следователи меняются каждые восемь часов. От «конвейера» обычно лопаются сосуды на ногах, и человек падает без сознания. После обработки физической, как правило, начиналась психическая обработка с использованием весьма оригинальных логических построений:

— Это глупо: отпираться от вещей очевидных. Вы же инженер, можете рассуждать здраво. Ну, давайте вместе разбираться. Вы работали в НИИ-3?

— Работал.

— Институтом руководил Клейменов. Троцкист. Немецкий шпион. Вредитель. Это он сам признал. Вы выполняли его указания?

— А как же можно не выполнять указаний начальника института, в котором ты работаешь?

— Вопросы задаю здесь я. А вы — отвечаете. Вы выполняли указания Клейменова?

— Выполнял.

— Слава богу! Вы понимаете, что, выполняя вредительские указания, вы тем самым совершали вредительство?

— Но ведь весь институт так или иначе выполнял указания Клейменова...

— Я не спрашиваю обо всем институте. С институтом мы еще разберемся. Вы за себя отвечайте. Вот ваш дружок Глушко понял, что закираться глупо, и честно пишет: «Вел подрывную работу по развалу объектов, необходимых для обороны страны с целью ослабления мощи Советского Союза, тем самым подготавливая поражения СССР в войне с капиталистическими странами... Сорвал снабжение армии азотно-реактивными двигателями, имеющими огромное оборонное значение...»

— Да почему же «сорвал»? Он их доводил до ума. ОРМ-65 — хороший двигатель, я с ним работал...

— ОРМ-65? — задумчиво переспросил следователь, листая бумаги дела.— Есть и ОРМ-65. Вот слушайте: «В 1936 году Глушко с целью оправдать свою бездеятельность подготовил для сдачи азотно-реактивный двигатель ОРМ-65 для установки на торпедах и ракетоплане, который им же, Глушко, вместе с Королевым при испытании был взорван с целью срыва его применения в РККА...» Очень интересно получается. Значит, вы признались, что работали с двигателем ОРМ-65, так?

— Работал. Можете посмотреть протоколы горячих испытаний...

— У нас с вами свои протоколы. И не менее горячие! И так, вы признаете, что работали с ОРМ-65, а Глушко признает, что работа эта — вредительская. Стало быть, вы кто? Вредитель! Зачем взорвали двигатель? А? Говорите честно. Ведь легче будет...

— Да ничего мы не взрывали! Он цел! Можете поехать в институт и посмотреть...

— Куда мне ехать, я сам решу. Не мое дело по институтам ездить, а мое дело получить от тебя показания, узнать, кто там еще затаился в вашем институте. И ты мне их назовешь! Всех назовешь! Назовешь, выблядок фашистский!!! Начинался следующий круг...

В феврале 1988 года я беседовал с членом-корреспондентом Академии наук СССР Ефуни. Сергей Наумович рассказывал мне о болезни Королева и операции, во время которой Сергей Павлович умер. Сам Ефуни принимал участие в ней лишь на определенном этапе, но, будучи в то время ведущим анестезиологом 4-го главного управления Минздрава СССР, знал все ее подробности.

— Анестезиолог Юрий Ильич Савинов столкнулся с непредвиденным обстоятельством, — рассказывал Сергей Наумович. — Для того, чтобы дать наркоз, надо было ввести трубку, а Королев не мог широко открыть рот. У него были переломы обеих челюстей...

— У Сергея Павловича были сломаны челюсти? — спросил я жену Королева Нину Ивановну.

— Он никогда не упоминал об этом, — ответила она. — Он действительно не мог широко открыть рот, и я припоминаю: когда ему предстояло идти к зубному врачу, он всегда нервничал...

Королев пишет ясно: «Следователи Шестаков и Быков подвергли меня физическим репрессиям и издевательствам». Доказать, что Николай Михайлович Шестаков сломал челюсти Сергею Павловичу Королеву, я не могу. К сожалению, никто этого уже не сможет доказать. Даже доказать, что ударил, — нельзя. Что просто толкнул. Вновь повторю: я ничего не могу доказать, нет у меня доказательств.

Днем после ареста Сергея Ксана поехала в приемную НКВД на Кузнецкий мост. На вопрос, в чем конкретно обвиняют мужа, младший лейтенант, поворотив бумаги, ответил коротко:

— Арестован. Ведется следствие...

Когда она вернулась домой, позвонила свекровь, начала спрашивать что-то о внучке...

— Мария Николаевна! Сергея больше нет! — крикнула Ксана, бросила трубку и, упав на диван, завывала, давясь слезами. Это были ее первые слезы с тех пор, как Сергея увели.

Когда Мария Николаевна примчалась на Конюшковскую, дверь в квартиру оказалась не заперта, в прихожей были разбросаны марля, бинты, какие-то пузырьки (при обыске растрясли домашнюю аптечку), и она подумала, что с Сергеем случилось что-то страшное.

— Умер? — спросила она спокойно, входя в комнату.

— Нет, арестован НКВД.

— Ну, слава богу!

— Вы с ума сошли!!!

— Но ведь он жив!!!

Вечером приехали старики Винцентини. Начался семейный совет. Макс сказал дочке:

— Если ты начнешь хлопотать, тебя тоже посадят.

— Хлопотать надо обязательно! — Мария Николаевна воплощала деятельную энергию. — Я пойду в НКВД и напишу письмо Сталину!

В НКВД домашние ее не пустили, а письмо Сталину она написала. Может быть, оно до сих пор лежит в архивах, хотя невозможно представить себе такое хранилище, которое вместит бы все письма к Сталину. Ответа, разумеется, не получила, но энергия ее не иссякла. Через некоторое время Мария Николаевна посылает Сталину телеграмму. Пройдя по Великому Кольцу Жалоб, телеграмма эта осела в архивах прокуратуры. Своеобразный документ эпохи:

«Москва. Кремль. Сталину. Дополнительно моему письму 15 июля сего года делу сына Королева Сергея Павловича работавшего институте номер 3 НКВД арестованного органами НКВД 27 июня сего года. Убедительно прошу срочно ознакомиться письмом. Сын мой недавно раненый с сотрясением мозга исполнением служебных обязанностей находится условиях заключения, каковые смертельно отразятся его здоровье. Умоляю спасении единственного сына молодого талантливого специалиста инженера ракетчика и летчика, принять неотложные меры расследования дела. Мать Королева Мария Баланина. Москва, Октябрьская, 38, кв. 236. 22 июля 1938 года».

Счастье наше в том, что чем дальше будет отодвигаться от нас то время, когда Сергей Павлович Королев сидел в сегодня уже не существующей тюрьме, тем меньше сможем мы понять его, проникнуть в его переживания, уяснить себе психологию его поведения. Да, это счастье, что нам, годящимся Королеву в дети и внуки, сделать это трудно, и, дай бог, чтобы детям внуков наших это стало совсем невозможно. Почти уверен, что ход моих размышлений по этому поводу неверен и приблизителен, но ведь берем же мы на себя смелость говорить о непреклонности воли Галилея или Бруно, выстраивать их внутренние монологи, проникать в психологию людей, отделенных от нас веками. А Королев — наш современник.

Интересовался ли он политикой? По свидетельству людей, знавших его в те годы, не интересовался и, будучи по природе законченным технарем, искренне не понимал, как ею можно всерьез интересоваться. Он не очень вникал в разногласия Троцкого со Сталиным, и Тухачевский или Орджоникидзе, например, занимали его лишь в той степени, в какой эти люди могли ускорять или тормозить его работу, которая волновала его несравненно больше, чем заботы всех политиков мира, вместе взятых.

Построй он тогда ракету, которую он построил через двадцать лет.. Впрочем, даже ту, которую он построил через десять, — и она встала бы тогда в один ряд с перелетами через полюс, метрополитеном, песнями Дунаевского, палаткой Папанина, с Магнитогорским комбинатом, «Тихим Доном», костромскими буренками-рекордистками, — со всем лучшим, что было создано в нашей стране ее

гражданами, создано их умом, талантом и трудом, но провозглашалось лишь итогом следования гениальным предначертаниям одного человека, пополняя ларец исторических свершений великого вождя всех времен и народов. Королев еще не успел сделать свой взнос. Но даже если бы и успел, это вовсе не означало бы, что колесо его жизни минует катастрофическую колею. Слава Мейерхольда или Туполева ушла за границу страны, и что? Да объяви тогда, что в сплоченный коллектив папанинцев затесался матерый японский шпион, скажем, Кренкель, — никто бы не удивился... Моментально бы заклеямили...

Но не будем фантазировать. Будем размышлять о том, что известно. Известно, например, что Королев, как и большинство его коллег по РНИИ, жил жизнью довольно изолированной. В самых общих чертах они представляли себе, как рождаются колхозы, как возводятся великие стройки. Что им говорили по радио, о чем они читали в газетах, то они и знали. И если Сталин, который уже в середине 30-х годов становится «гениальным», которого очень умный человек Тухачевский называет «великим», если этот гениальный, великий политик утверждает, что по мере роста и укрепления страны классовая борьба будет ожесточаться, то как можно ему не верить?! Королев всегда с большим уважением относился к специалистам, а в этом вопросе Сталин был для него как раз авторитетным специалистом. А потом — денно и ночью — по радио, в газетах: Сталин прав, прав, прав! И думаешь: да все, наверное, не так просто, как казалось раньше. То, что враги Советской власти существуют, — это никому и доказывать не надо, это всякому ясно. Другое дело, что распознать их действительно трудно. Но распознают! Припирают к стенке! И они сознаются! Сами сознаются! Кто бы мог поверить, что Тухачевский — глава антисоветского заговора? Генерал армии А. В. Горбатов, отвечая на этот вопрос в своих мемуарах, пишет: «В конце концов, перебрав различные объяснения, я остановился на самом ходком в то время: «Как волка ни корми, он все в лес смотрит». Этот вывод имел жаждущее основание в том, что М. Н. Тухачевский и некоторые другие лица, вместе с ним арестованные, происходили из состоятельных семей, были офицерами царской армии... «Очевидно, — говорили тогда многие, строя догадки, — во время поездок за границу в командировки или на лечение они попали в сети иностранных разведок».

Разве расстреляли бы таких высоких военачальников, если бы не было за ними никаких грехов, да еще сейчас, когда так много говорят о грядущей войне, сейчас, после Испании?! Ну не будет же Сталин рубить сук, на котором сидит! Значит, были грехи, и немалые...

А Клейменов с Лангемаком? Ведь Клейменов действительно жил в Берлине. Могли его там завербовать? А почему не могли? Лангемак был царским офицером, кто ему в душу влезет? И здесь из темных, до поры запретных глубин сознания всплывала страшная, миллионы людей сгубившая своим гражданским наркомом формула: «Просто так у нас не сажают!» А давайте-ка разберемся. Разве не мешали Клейменов и Лангемак ему, Королеву, развивать жидкостные ракеты, строить ракетоплан, то есть именно те объекты, которые (по мнению Королева!) представляют огромную ценность для обороны страны? Разве не тормозили они его работы, не вставляли ему палки в колеса? Но ведь он-то точно не враг народа! И если они ему мешали, то враги они! Если они оговорили его, втянули в свою шайку, посадили за решетку, значит, они вдвойне враги!..

Стоп! Так нельзя! Нельзя! Да, они не соглашались с ним, спорили, всегда старались протолкнуть свои реактивные снаряды впереди его ракетоплана, не верили в жидкий кислород и крылатые ракеты, но ведь техническая близорукость и предательство — это все-таки не одно и то же. И, объективно говоря, у них ведь получались неплохие реактивные снаряды, вне зависимости от того, нравятся они ему или не нравятся. Но если они не враги народа, зачем же они втянули его в эту кровавую историю?! Ведь они же знали, что он не вредитель, знали, что ни в какой антисоветской организации он не состоит, и втянули! Однако об их показаниях только говорят, а самих документов не показывают. А если этих показаний не было? И другое возможно: показания есть, но даны они под пыткой. Тогда все,

вся жизнь теперь сужается до одного-единственного, обязательного условия всего его существования: не назвать никого, не утопить других людей. На иное сил уже не хватит...

Пройдет много дней и ночей на нарах теплушек, в камерах пересылок, в палатках далекой Колымы, много долгих дней и ночей подневольного рабского труда на заводах и в шарагах Москвы, Омска, Казани, прежде чем сквозняки эпохи рассеют дым сталинского ладана в его голове, прежде чем рассосется зловонная жижа подозрительности ко всем и ко всему в его сердце, прежде чем сквозь мутное и кривое стекло искаженной истории сумеют глаза его разглядеть истинные лица своих товарищей и осознать себя участником одной из величайших трагедий в истории человечества.

Королев Сергей Павлович обвинялся в деяниях весьма серьезных, а сказать точнее — в преступлениях, обозначенных в статье 58, пунктах 7 и 11 Уголовного кодекса Российской Федерации. О 58-й статье сегодня слышали все, но именно слышали, а толком о ней мало кто знает и узнать трудно: в современном Уголовном кодексе ее нет. А статья и пункты эти — страшные, беспросветные.

Пункт 7 — это «подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения или кредитной системы, а равно кооперации, совершенный в контрреволюционных целях путем соответствующего использования государственных учреждений и предприятий или противодействия их нормальной деятельности, а равно использование государственных учреждений и предприятий или противодействие их деятельности, совершаемое в интересах бывших собственников или заинтересованных капиталистических организаций, влекут за собой высшую меру социальной защиты — расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства союзной республики и тем самым гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов Союза ССР навсегда, с допущением, при смягчающих обстоятельствах, понижения до лишения свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или части имущества».

Пункт 11 еще страшнее: «Всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке и совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений, а равно участие в организации, образованной для подготовки или совершения преступлений, предусмотренных настоящей главой».

Столь подробное цитирование старого Уголовного кодекса умышленно: прочитав все это, острее можно представить себе состояние совершенно невинного человека, которого в подобных злодеяниях обвиняют. Как должен был закричать тот же Королев: «Помилуйте, но какое ко мне все это имеет отношение?! Какую промышленность или кредитную систему я подрывал, в интересах каких капиталистических организаций действовал, какие преступления подготавливал?!» Задача следователя и состояла, помимо получения признания, в доказательстве того, что конкретные действия арестованного как раз «подпадают» под данные пункты статьи. А поскольку сформулированы они были с такой широтой, что охватывали все горизонты деятельности любого работающего человека, сделать это при желании и даже минимальных навыках было совсем нетрудно. В чем же конкретно обвинялся Королев?

Первое и главное: он член контрреволюционной вредительской организации. Это доказывается показаниями Клейменова, Лангемака и Глушко. Никаких документов, никаких вещественных доказательств, ничего, кроме расплетающихся подписей трех до полусмерти забитых людей.

По этому поводу Королев писал: «...я никогда, нигде и ни в какой антисоветской контрреволюционной организации не состоял и ничего об этом не знал и не слышал. Мне 32 года, отца моего, учителя в городе Житомире, я лишился 3-х лет от роду. Мать моя и сейчас учительница в Дзержинском районе Москвы. Я вырос при Советской власти и ею воспитан. Все, что я имел в жизни, мне дала партия Ленина — Сталина и Советская власть. Всегда, всюду и во всем я был предан генеральной линии партии, Советской власти и Советской Родине».

Второе обвинение: разработка ракет производилась без чертежей, расче-

тов, теоретического обоснования, то есть ракеты-то вроде и были, но на самом деле это не ракеты, а только одна видимость, обман, саботаж, вредительство. Но ведь все чертежи, расчеты — в секретных тетрадах, они хранятся, их можно посмотреть. Протоколы испытаний и продувок в аэродинамических трубах, теоретические обоснования в сборниках «Ракетная техника», которые издавал институт, их вышло уже пять, все акты экспертиз Технического института РККА, Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского, НИИ № 10 НКОП и других учреждений — все это существует! Не сожгли, не уничтожили, даже не запрятали — все лежит на своих местах. Надо просто взять и посмотреть, и все обвинение лопадется.

Следующий пункт: специально разрабатывал неудачную ракету 217, чтобы задержать остальные, более важные разработки. Конечно, неудачи в РНИИ у Королева были, и немало, но как раз ракету 217 можно отнести к числу удач. Заказчик — НИИ № 10 в Ленинграде — ракету принял, есть акты. В сравнении с другими разработками Королева ракета 217 — более чем скромный объект, который просто не мог ввиду малого объема работы затормозить другие ракеты. А потом, опять-таки, на все есть документы...

Еще одно обвинение: не разработана система питания ракеты 212, что сорвало ее испытания. Но ведь система, даже несколько ее вариантов, реально существует в металле, ее можно пощупать! И испытания проводились многократно, есть протоколы! А проводить испытания без системы питания невозможно!

Королева обвиняют в том, что он конструировал негодные ракетные двигатели, которые работали только 1—2 секунды. «Работы над ракетными двигателями мною никогда не производились, — пишет Королев, — а велись в другом отделе института и другими лицами». Это истинная правда: за всю жизнь Королев не разработал ни одного ракетного двигателя.

Наконец, упорно доказывалось, что еще в 1935 году они с Глушко разрушили ракетный самолет. Самое замечательное в том, что разрушить его в 1935 году невозможно было при всем желании хотя бы потому, что он тогда не существовал. И как же он разрушен, если весь 1938 год на нем регулярно проводились испытания?! «В день моего ареста 27 июня 1938 года, — пишет Королев, — он целый и невредимый стоял в НИИ-3».

Что ни пункт, то откровенная, даже ничем не замаскированная «липа». Не потрудились придать всему делу хотя бы видимость чего-то серьезного. Все обвинение рассыпается при первом же, самом поверхностном прикосновении следствия. Но никакого следствия не было. Было истязание.

В мае 1955 года в заявлении в Главную военную прокуратуру с просьбой о реабилитации Королев писал о тех днях: «Во время следствия по моему делу я ничего не мог доказать и объяснить, так как следствие в то время велось в совершенно недопустимой форме и обстановке. Вернее было бы сказать, что никакого следствия по существу дела и предъявленных обвинений в то время не производилось».

Меня обвиняли во вредительстве в области новой техники, где я работал в то время. Более неправдоподобное и нелепое обвинение трудно себе представить, так как работа в области новой техники всегда была для меня целью всей моей жизни и любимым делом».

Каково же ему было тогда, в 38-м, если и семнадцать лет спустя волнение его отчетливо выступает за этими строчками, если и в 55-м душу его жжет горечь, обиды за надругательство над ним?

Очень плохо было ему тогда. Королев совершенно подавлен морально. Это видно из его письма к первой жене — Ксении Максимилиановне Винцентини. «Я сильно, очень сильно устал от жизни. Я не вижу в ней для себя почти ничего из того, что влекло меня раньше... Тебя, может быть, огорчит столь резкое падение моего интереса к жизни вообще, но должен тебе сказать, что это вполне обоснованное положение. Во-первых, я не вижу конца своему ужасному положению. Будет ли ему конец скоро, в этом году? Никто не знает, и, быть может, еще год, два и более суждено мне томиться здесь. Во всяком случае, рассчитывать почти наверняка нечего, затем, вообще не на что можно рассчитывать дальше мне, ибо я

всегда снова вероятный кандидат. Да, кроме того, это значит всегда отягощать твою и Наташкину судьбу. Я даже не знаю, сможем ли мы снова жить вместе, вернее, могу ли я и должен ли я жить вместе. Я боюсь об этом говорить и думать...»

Поскольку обвинение, как говорится, на ногах не стояло, ему надо было срочно придумать какие-то костыли. Такими костылями не только в деле Королева — в тысячах других дел — были акты «Технической экспертизы». Причем не спрашивали: «Вредил или не вредил?» Сам факт вредительства не обсуждался. Требовалось указать, «как конкретно вредил».

Начальник РНИИ Слонимер назначил специальную экспертную комиссию по делу Королева. Составлен был акт за подписями четырех человек: Костикова, Душкина, Дедова, Каляновой. Позднее Королев напишет: «Этот акт пытается опорочить мою работу. Однако заявляю вам, что он является ложным и неправильным. Лица, его подписавшие, никогда не видели в действии объектов моей работы. Приводимые в акте «факты» вымышлены...»

Откуда и как появилась эта четверка? Слонимер от подписи ушел: человек не новый, с Королевым работал очень недолго. Костиков подписал не раздумывая. Он же привлек Душкина — нужен был хотя бы один человек, что-то понимающий в тематике Сергея Павловича. Душкин был человек способный, а каждый способный человек кому-то мешает. Он очень боялся, что и на него напишут донос, боялся ареста. Наверное, подумал, что подпись будет замечена «там», расписывался не во вредительствах Королева, а в собственной лояльности. Дедов работал в отделе Королева. Он был из рабочих, с большим трудом закончил институт, но инженера из него так и не получилось. Подписал, потому что начальство велело. Маруся Калянова была на взлете: фабричная девчонка окончила Академию химзащиты, попала в РНИИ, а после ухода Николая Гавриловича Чернышова стала заведовать химическим отделом. Румяная, очень энергичная, наглая, совершенно недумаящая: «Зря у нас не сажают». В 37-м ее уже приняли кандидатом в члены партии, и подпись ее под актом можно было рассматривать как исполнение партийного поручения: помочь товарищу Сталину разоблачать врагов народа.

Акт, подписанный этим квартетом 20 июля 1938 года, разрешал Королева уничтожить:

«Методика работы Королева С. П. была поставлена так, чтобы сорвать выполнение серьезных заказов путем создания определенных трудностей, запутывания существа дела, ведением кустарного метода работы и непроизводительным расходованием средств...»

Через полвека я нашел Марию Павловну Калянову. Вспоминали РНИИ. Она рассказывала, кто в какой комнате сидел, как одевался, ее прекрасная память сохранила много ценнейших мелких наблюдений, на которые лишь женщины способны. Когда стали вспоминать страшные давние годы, сказала убежденно: «Я не допускала мысли, что Клейменов, Лангемак, Глушко и Королев — враги народа».

Даже мысли не допускала!

Я спросил без паузы, среди беседы:

— Мария Павловна, вот вы говорите, что Королев был душевным, симпатичным молодым человеком. Вы совершенно не были связаны с ним по работе, значит, какое-либо соперничество исключается. Что же побудило вас подписать акт технической экспертизы для НКВД в 38-м году? Ведь вы же не могли не понимать, что этим актом вы губите человека...

Разом вспыхнула:

— Какой акт?! Не помню... Не может быть...

Ах, Маруся, Маруся («Меня все в институте Марусей звали...»), я сам с этой хроникой следователем стал и вижу: помните, все вы прекрасно помните. Просто не могли себе представить, что через пятьдесят лет отыщется эта проклятая бледная подпись и, приняв мое обличье, явится в вашу квартиру, что акт

этот всплывет из пучин бездонного океана страшных бумаг тех лет — свидетельств слабости, если не трусости, трусости, если не подлости...

— Неужели там моя подпись? Просто не могу поверить... Очевидно, Пойда меня уговорил...

Да не судья я вам, Мария Павловна. Не обличения ради говорю все это, а с одной-единственной целью. Пусть всякий человек, и ныне взявший в руки неправедное перо, помнит: уберечься от правды невозможно, и есть на наше счастье среди всех судей, прокуроров и адвокатов главный, никогда не ошибающийся судья, прокурор и адвокат — Время. А что потом уж страшней — кара людская или приговор собственной совести, — каждый сам решит для себя...

Когда я уходил, Мария Павловна сказала несколько жеманно, тоном неискренним:

— Вы, право, так расстроили меня сегодня...

Но я поверил: я действительно ее расстроил.

Сколько раз вызывали Шестаков и Быков на допрос Сергея Павловича Королева, установить нельзя. Дело в том, что протоколы допросов чаще всего оформлялись лишь тогда, когда подследственный давал какие-либо показания. А если упрямылся — что ж бумагу-то переводить...

В «Деле» Королева, хранящемся в архиве Комитета Государственной безопасности, есть только два протокола допроса: от 28 июня — сразу после ареста — и от 4 августа 1938 года.

Вот в этом втором протоколе (отпечатан на машинке, дата проставлена чернилами) записано: Королев признал, что является участником антисоветской организации, в которую в 1935 году был вовлечен Лангемаком и в котором состояли Клейменов и Глушко.

Однажды, уже в 1945-м, он скажет Ксении Максимилиановне:

— Я подписал, потому что мне сказали: если не подпишу, вас с Наташкой поубьют...

Читая дела ракетных и авиационных специалистов, репрессированных в 1937—1938 годах, трудно обнаружить какую-либо закономерность в определении наказания. Поскольку все эти люди совершенно чисты, нельзя говорить об их вине. Можно рассматривать лишь количество обвинений, которые им предъявлялись. Однако за одно и то же «преступление» человека могли приговорить к десяти, а то и восьми годам лагерей, а могли и расстрелять. Расстреливали чаще лидеров, скажем, наркомов, их заместителей, крупных специалистов, которые объявлялись руководителями диверсионных группировок, как Клейменов, например. Но, скажем, знаменитые авиаконструкторы Туполев и Петляков, названные руководителями вредительской «русско-фашистской партии» в авиапроме, остались живы, в то время как рядовые «члены» этой «партии» были расстреляны. Одни «признавались» во всем и «признание» это постоянно подтверждали. Другие «признавались», но потом отказывались от своих показаний. Третьи — единицы — ни в чем не «признавались». Но мера наказания в каждой из трех групп арестованных тоже была различна. Не зависела она и от того, назвали вы «соучастников» или не назвали. «Высшая мера» назначалась, надо думать, не только до начала следствия, но еще и до ареста человека, и поэтому, скорее всего, не могла быть обусловлена его поведением и показаниями.

В этой слепой стихии, существовавшей без каких-либо законов и правил, было бездушие и фатализм молнии или урагана. Невозможно было ничего предвидеть, рассчитать, предположить развитие событий по некой схеме, работающей, пусть не по твоей, но хотя бы по какой-то логике. Ответить на все вопросы, объяснить, почему так или иначе, не могли ни законы, ни жертвы, ни даже палачи. Пожалуй, только один человек мог — Сталин, но он не любил это объяснять.

Королев, как и большинство других арестованных, очень ждал суда. Нервы его были на пределе. Он был человеком действия, из тех, для которых ждать

много хуже, чем догонять. Пусть хоть в тундру отправляют, но сидеть целыми днями в камере, задыхаясь от невероятной духоты и смрада, он больше не мог. В Москве отмечалась в те дни рекордная жара — до 35 градусов, — люди падали на улицах, а что творилось в переполненных тюремных камерах, и представить невозможно. Суд превращался в навязчивую идею, в недостижимую мечту, и чем нетерпеливее он ждал суда, тем крепче становилась его уверенность, что там можно будет все объяснить, указать на несурзности обвинений, видные сразу, даже без изучения каких-либо документов, там можно, наконец, хотя бы попытаться оправдаться, то есть сделать то, что невозможно было сделать во время следствия. Живучесть этих заблуждений объяснялась тем, что если во время следствия арестованные могли общаться между собой, обмениваться трагическим опытом, то контакты между теми, кого уже судили, и теми, кто ожидал суда, исключались.

Как судят — рассказать было некому.

Королева судила 27 сентября 1938 года Военная коллегия Верховного суда СССР под председательством армвоенюриста Василия Васильевича Ульриха.

В галерее «героев 1937 года», кроме самого главного «героя», прежде других глаза останавливаются на трех портретах: благообразный теоретик человеконенавистничества Вышинский, маленький уркаган с маршальскими звездами в петлицах¹ — Ежов и человек с лицом василиска — Берия. Предшественник Ежова — Ягода отходит куда-то на задний план, и совсем в тени остается Ульрих. Между тем Ульрих по масштабам своего человеческого перерождения, по почти мифологическому размеру причиненного им зла не только не уступает вышеназванным палачам, но даже превосходит их. Если допустимо рассуждать формально, то, может быть, именно Ульрих своей подписью приговорил к смертной казни и каторге столько людей, сколько не приговорил ни один другой человек за всю историю человечества.

Безупречное происхождение. Родился в Риге в семье убежденного революционера, вступившего в борьбу еще в конце 70-х годов прошлого века и тогда же сосланного на пять лет в Сибирь. XX век Мефодий — такая была партийная кличка у Василия Даниловича — встречал с женой и десятилетним сыном в новой ссылке — в городке Илимске Иркутской губернии. Там до пятнадцати лет мальчик живет и воспитывается в среде настоящих революционеров. Восемнадцать лет он уже член «Центра учащейся молодежи» при рижском комитете социал-демократов. Учитя в знаменитом Политехническом институте, ведет активную пропагандистскую работу. С осени 1915 года — вольноопределяющийся в саперных войсках, но, поскольку образование высшее, направлен в школу прапорщиков. В октябре 1917-го — член исполкома Совета солдатских депутатов 12-й армии. Весной 1918 года направлен в ВЧК, работает под непосредственным руководством Дзержинского. Как, где, когда проклюнулся и пошел в рост палач?

С февраля 1920 года — в органах военной юстиции. Стремительная карьера: с января 1926 года он уже председатель Военной коллегии — главный военный юрист страны! Постановление ЦИК СССР передает подчиненным ему военным трибуналам с июля 1934 года все дела «об особо социально-опасных преступлениях против Советского государства». Он председательствует на всех самых знаменитых процессах 30-х годов: «Контрреволюционный ленинградский центр», «Объединенный троцкистско-зиновьевский центр», «Параллельный троцкистский центр», «Военно-фашистский заговор», «судит» Каменева, Зиновьева, Ягodu, Пятакова, Бухарина, Тухачевского, за каждой этой фамилией — десятки, сотни, тысячи других жертв. Редкое дело поручает он своему заместителю Матулевичу — подавляющее большинство стремится вершить сам. Невероятно работоспособен. В 1937 году усердие его отмечено было орденом Ленина. Его избирают в первый Верховный Совет СССР, словно в насмешку делая депутатом

¹ Ежову Сталин пожаловал ранее не существующее звание Генерального Комиссара Государственной безопасности, разрешающее носить в петлицах маршальские звезды.

от Усть-Вымского избирательного округа Коми АССР — именно там лагеря с тысячами его жертв.

Страшный этот человек умер в мае 1951 года. С полным уважением к его заслугам и званию — он был единственный генерал-полковник юстиции в стране — Ульриха похоронили на Новодевичьем кладбище. Через весь город от здания Военно-юридической академии ученики его — курсанты — несли гроб на руках. Воистину, нет бога! Прахом наивного, более смешного, чем опасного, обманщика Гришки Отрепьева выстрелили из пушки. Сталина вынесли из Мавзолея. Берию лишили могилы. Ульрих лежит в некрополе славнейших сынов Отечества!

Вот этого человека — толстенького, круглолицего, почти совсем лысого, с маленькими черненькими (тогда их чаще называли «чаплинскими», а позднее — «гитлеровскими») усиками, в очках, с виду очень добродушного — дети любят таких плюшевых медвежат — и увидел перед собой Королев утром 27 сентября 1938 года. По бокам его сидели два довольно безликих человека с «ромбами» в петлицах. До 1935 года Военная коллегия сохраняла видимость некоего судопроизводства: прокуроры, адвокаты, судьи, но к 1938 году вся эта канитель отпала за ненадобностью. Если у Ягоды или Пятакова были — пусть формально — защитники, то Королеву и в голову не могло прийти требовать адвоката и невозможно даже представить себе меру удивления Василия Васильевича, если бы он его потребовал.

Голосом безгневливым, скучающим Ульрих поинтересовался «установочными данными»: кто такой, где и когда родился и кем работал до последнего времени? Королев отвечал. Ульрих слушал молча, но как бы и не слышал. Затем, тоже довольно бесстрастно, было зачитано обвинительное заключение.

— Признаете ли вы себя виновным? — спросил Ульрих, кажется, впервые взглянув на Королева.

— Нет, не признаю, — твердо ответил Королев. — От своих прежних показаний я отказываюсь. Я дал их только потому, что ко мне применялись недозвольные методы следствия. Я ни в чем не виноват.

Настал долгожданный миг! По мнению Королева, эти слова должны были сразу круто изменить ход судебного заседания. Он ожидал недоумения и даже растерянности судей. Мог представить себе их недоверие к его словам, даже возмущение, но того, что слова эти не произведут никакого впечатления, он не ожидал и на какой-то миг даже подумал, что, возможно, его не расслышали, или не поняли и надо повторить. Но повторять не потребовалось.

— От своих показаний вы отказываетесь, — еще спокойно, но уже с чуть заметным усталым раздражением сказал Ульрих, — а вот Клейменов показывает, что на путь борьбы с Советской властью он вступил еще в тридцатом году, находясь в Берлине, и продолжал свою вредительскую деятельность в НИИ-3. И вы в этой вредительской группе состояли...

— Ни в какой группе я не состоял.

— И Лангемак, и Глушко показывают...

— То, что они говорят, я объяснить не могу.

— Вы-то не можете, зато мы можем!..

Разбирательство заняло минут пятнадцать: у Василия Васильевича был уже немалый опыт. Протокол заседания столь долгожданного для Королева суда умещается на одной странице. В бумажке этой значилось, что Королев «виновным себя не признает и данные им показания на предварительном следствии отрицает... Как участников организации он назвал по указанию и предложению следователя — Лангемака и Глушко. Назвал их потому, что знал об их аресте, но он категорически отказался называть следователю лиц, которых тот ему еще предлагал, зная, что те не арестованы. Участником контрреволюционной организации он никогда не был и, конечно, не знал никаких участников этой организации».

Королев все ждал, что вот сейчас весь этот нелепый по своей бездоказательности разговор о террористическом заговоре кончится, наконец, и его начнут

спрашивать по делу, по сути предъявляемых обвинений. Множество раз в Бутырках беззвучно повторял он свои оправдательные доводы, с актерским прилежанием продумывал все интонационные подьемы, спуски и даже мимику. Но никто ни о чем не спрашивал и никакими деталями не интересовался. Ульрих скользнул взглядом по своим безмольным и неподвижным помощникам, сказал невнятно: «Ну, думаю, все ясно...»

Наверное, Королеву хотелось крикнуть: «Погодите, но ведь так же нельзя! Давайте я расскажу вам о себе, о своей работе», — но он не успел. Ульрих уже читал:

— ...Королева Сергея Павловича за участие в антисоветской террористической и диверсионно-вредительской троцкистской организации, действовавшей в Научно-исследовательском институте № 3 Народного комиссариата оборонной промышленности; срыв отработки и сдачи на вооружение Рабоче-Крестьянской Красной Армии новых образцов вооружения приговорить к десяти годам тюремного заключения... окончательный... не подлежит...

5

*О люди,
Люди с номерами!
Вы были люди, не рабы.
Вы были выше и упрямей
Своей трагической судьбы.
Я с вами шел в те злые годы.
И с вами был не страшен мне
Жестокий титул «враг народа»
И черный
Номер
На спине.*

Анатолий Жигулин.

После суда Королева поместили в бывшую церковь Бутырской тюрьмы, которая ввиду того, что бога нет, служила местом временного пребывания полутора сотен уже приговоренных зеков, ожидающих отправки, то есть этапа. Он был настолько подавлен, вернее сказать, раздавлен, что ни с кем не говорил, на вопросы не отвечал. Сколько прошло времени — часов или суток — неизвестно, во всяком случае, очень скоро сквозь приглушенный вокзальный гул огромной камеры он услышал громкое:

— Королев, с вещами...

По правилам Бутырок, если говорили: «Оденьтесь слегка», — это означало, что поведут на допрос тут же в тюрьме. «Оденьтесь» — повезут в «университет», так называлась Лубянка, или в «академию» — это Лефортово. А если: «С вещами» — это значит увозят далеко.

Новая, ранее неизвестная грань тюремной жизни предстала перед Королевым: он не знал, куда его отправят. Сколько помнил себя, во всех переездах все было известно заранее: едем с мамой в Одессу к отчиму, еду в Киев к дяде Юре, в Коктебель — летать, в Харьков — к Ксане, в Москву — учиться — всякий раз знал, куда и зачем. Даже тогда, ночью, на Конюшковской, когда его арестовали, он знал, что повезут, вероятно, на Лубянку, часто слышал: «Забрали на Лубянку». А куда повезут теперь?

Дня два просидел он в пересылке на Красной Пресне, ждал, пока оформят этап. Потом платформа. Теплушка. Состав тронулся без гудка. Поехали... Куда? Зачем? «И так будет десять лет?!» Наверное, впервые ясно ощутил он весь необъятный срок своей несвободы именно теперь, под перестук колес теплушки, неспешно, но упрямо катившейся в черной осенней ночи.

Московские казематы были переполнены, столицу требовалось разгрузить, и арестованных отправляли в пересыльные тюрьмы, где формировали этапы: в Коми, Мордовию, на Урал, в Сибирь, в казахские степи и далее — до крайних восточ-

ных пределов страны. Королев попал в Новочеркасскую пересылку, одну из самых больших тюрем на юге России. Прибыл он туда довольно быстро, если учесть темпы движения арестантских экспрессов — 10 октября, через две недели после суда. В Новочеркасской тюрьме провел он почти восемь месяцев. Я не нашел ни одного человека, который бы помнил Королева по Новочеркасску, о пребывании его там ничего не известно. Тень его пребывания в пересылке — заявления, которые он шлет оттуда в Москву. Сразу по прибытии он пишет Председателю Верховного суда СССР и Прокурору СССР, который не ответил на его августовское письмо. В феврале 1939 года — в ЦК партии, в апреле — второе письмо Председателю Верховного суда.

В то же время в квартире на Конюшковской появляются какие-то неизвестные люди, приносят крохотные записочки: «Жив, здоров, не волнуйтесь...» Ксения Максимилиановна сует добровольным почтальонам деньги. Расспрашивать бесполезно: это уголовники, они не могут ничего рассказать о тюрьме, поскольку в их сознании тюрьма настолько понятна и естественна для человека, что и рассказывать не о чем.

— В Новочеркасске шамовка клевая, куда Самаре...

Но Ксения Максимилиановна не знала, как кормят в самарской тюрьме, сравнить не могла...

1 июня 1939 года Королева наконец отправили. Этап следовал на восток, но прошел слух, что повезут через Москву. Удалось написать домой. Ксения Максимилиановна и Мария Николаевна пробовали выяснить, что за поезд, куда, когда придет. Никто ничего не знал. А может быть, не велено было говорить. Всю ночь ходили они по путям Москвы-товарной, искали, не нашли.

Почти два месяца катился пульман к Тихому океану. В вагоне их было пятьдесят человек. Конвоир не нужен: вагон запирался снаружи. Пятеро блатных стали было куролесить, но однажды молодой комбриг, грузин, ухватив домшника Жору за ворот правой рукой, поднял его к самой крыше и, дико вращая огненными глазами, заорал:

— Встаты!

И блатные встали. Комбриг бросил им под ноги Жору и крикнул:

— Вольно!

Со дня «вознесения святого Георгия», как окрестил это событие отец Михаил — священник из Ульяновска, блатные стали ниже травы, тише воды. На остановках конвоиры, прихватив в помощники блатных, разносили хлеб и ведра с похлебкой. Ели из мисок, но без ложек, как собаки. За трешку конвоиры приносили газеты. Когда Королев читал их, ему казалось, что это какие-то инопланетные издания, рассказывающие о жизни других миров. Опера Хренникова «В бурю». Декада киргизского искусства. Город Надеждинск переименовали в Серов, а Бердянск — в Осипенко. Все время кого-то награждали орденами: работников наркомата вооружения, воинов дивизии особого назначения имени Дзержинского, сельских учителей, артиста Козловского. В передовой «Правда» цитировала Ворошилова: «У нас есть полная уверенность, что в ближайшее пятилетие мы выйдем на уровень мировой авиационной техники и создадим все условия для того, чтобы в этой области быть впереди других». Вот он и «создал все условия». «Проблема повышения потолка... самолетов», — продолжала «Правда», — во всей авиации встает сейчас с особой остротой». Но коли она «встает», почему же он, Королев, лежит на нарах? Ведь именно этим — повышением потолка — он и занимался. Особенно поразила его статья Председателя Верховного суда СССР Голякова, которая долго ходила по нарам, периодически вызывая взрывы отборного мата.

«Необходимо, чтобы органы расследования собрали по каждому делу улики, не вызывающие сомнений в своей достоверности, чтобы все противоречия были вскрыты и объяснены... — писал Голяков. — Известно, что вредители стремились к упрощению судебного процесса, прививали судьям пренебрежительное отношение к защитнику, игнорировали права подсудимого».

Матерь божья! Это он, «вредитель» Королев, оказывается, прививал Ульриху пренебрежение к защитнику! Все это было так мерзко, что ирония уже не спасала. Но раз это печатали, значит, там, в том мире за стенками вагона, были

люди, которые верили, что органы следствия догосно собирают улики, «не вызывающие сомнений», а сами подсудимые им мешают.

Написать домой обо всем, что волновало его сейчас, было невозможно: не на чем. Однажды удалось раздобыть несколько лепестков папиросной бумаги и нацарапать карандашным огрызком весточки: жив, здоров. Бумажки эти, сложенные треугольником, заклеивали хлебным мякишем и выбрасывали в перевязанное колючей проволокой оконце. Если их не уносил ветер, щадил дождь и птицы не склевывали мякиш, был маленький шанс, что записку эту мог найти путевой обходчик и переслать семье арестованного. Редко, но письма такие доходили. «Человечность путевых обходчиков в эпоху сталинского террора» — вполне подходящая тема для диссертации.

К концу второго месяца пути эшелон прибыл наконец на станцию назначения. Вторая Речка — так назывались ворота Колымы. Это была обширная территория, а точнее, несколько обширных территорий, обнесенных колючей проволокой в два ряда, между которыми бегали овчарки. По углам на вышках сидели пулеметчики, а внутри стояли огромные добротные бараки. Каждая зона вмещала 10—15 тысяч зеков, а вся Вторая Речка по числу жителей не уступала областному городу. Отсюда начинался путь к золоту, здесь швартовались штатные теплоходы Дальстроя, постоянно подпитывающие магаданские прииски новой живой силой. Тысячекратно описанные перевозки работорговцев не идут по масштабам своим ни в какое сравнение с Дальстроем. И за десять лет не привозили на берега Миссисипи столько невольников, сколько на берега Колымы за одну навигацию.

После могучих стен новочеркасских казематов и густого, неистребимого никаким сквозняком горячего смрада вагона Вторая Речка представлялась просто пионерлагерем: солнце, ветерок, настоянный на далеких медовых травах, теплынь — Королев повеселел.

Жизнь здесь была ключом: кого-то привозили, кого-то увозили, каждый день новые слухи с воли. Бессознательно приукрашенные самими заключенными, они были, как правило, оптимистичны: начали пересматривать дела, кого-то уже выпустили, Ежов снят... Когда людей лишают надежды, они создают ее сами, потому что надежда должна быть с человеком до самого его последнего мига.

Передавали мнение людей знающих, что якобы торопится уезжать со Второй Речки не надо, чем больше здесь прокантуешься, тем больше сил сбережешь, но как, каким способом можно было тут зацепиться, толком никто не знал: все они были колымскими новоселами. Известно, что в пересылке сидели и месяц, а то и два, но Королев, хотя и понимал, что от добра добра не ищут, все-таки хотел отсюда поскорее выбраться. Он не любил состояния временности, надо точно знать, что тебя ждет, и, зная это, рассчитывать силы. Он был тогда, с точки зрения опытного колымского зека, непростительно наивен.

Ждать ему пришлось недолго: дней через десять он попал в этап. Пристань. Солдат и собака, кажется, больше, чем заключенных. Трап и сразу трюм, гулкий, как сбор, трюм теплохода «Дальстрой». Пять тысяч заключенных расписаны были по отсекам. У каждого трюмного колодца — толпа охранников. Небольшими группами, если не было шторма, выводили подышать на палубу. У команды и конвоя было две заботы: исключить возможность захвата парохода заключенными и обеспечить их численную сохранность. Живой или мертвый — это неважно, лишь бы за борт не упал, не смыло волной.

Все познается в сравнении. Теплушки теперь казались раем: в трюме стояла невероятная липкая духота, весь пол в блевотине — в Охотском море сильно штормило, — противная дрожь всего окружающего железа и этот глухой стук машины, — очень скоро уже не можешь отличить, где стучит: у тебя в голове или где-то снаружи. От холода за бортом и зловонного трюмного тепла железо все время запотевало, сочилось водой. Под ногами стояли лужи в белых пузырях — они бродили, как сусло. Сверху непрестанно кпало. В трюме колымские зеки переживали предельное ощущение физической нечистоты — ни до, ни после такого не было. Плыли семь дней.

Королев сидел в носовом отсеке. По шипению воды за бортом можно было

определить, когда меняется ход. Потом, словно сорвавшийся с вершины камнепад, загрохотала цепь в якорном клюзе. И стало тихо. Открыли люк.

— Выходи пятерками!

Стоя в своей пятерке, Королев смотрел на берег, где за завесой мелкого холодного дождя на фоне пологих скучных гор белели домики. Перед ним был Магадан — столица колымского края.

Освоение Колымы началось с 1932 года, когда организовался Дальстрой. Тогда стали тянуть Колымский тракт, пробиваться от Магадана к перевалу и дальше на север — к Берелёху, Таскану, Сеймчану. Шли за золотом, за оловом, за углем, двадцатиметровые пласты которого лежали прямо на поверхности. Дело двигалось ускоренно. В 1934 году здесь уже собирали урожай картофеля и капусты, а в оленеводческом совхозе Дальстроя паслось одиннадцать тысяч голов. Еще через год начальник Дальстроя Э. Берзин (уже расстрелянный к моменту приезда сюда Королева) писал: «Каковы перспективы Колымы? Здесь пройдут железные дороги, здесь будут сооружены десятки шахт и рудников, здесь будет металлургический завод... Нет силы, которая может остановить рост этого края».

Силы такой действительно не было: в 1937—1939 годах население здесь удваивается, утраивается, удесятеряется. Создается последняя (будем оптимистами!) в истории человечества рабовладельческая империя — империя ГУЛАГа.

По маленьким, но характерным деталям: громкому открытому мату, тычкам прикладами в спины замешкавшихся, отсутствию овчарок на причале, — было видно, что бухта Нагаева — это уже другой мир, мир далекий, как Плутон, и законы здесь другие, а значит, и жизнь будет совсем другая...

Неожиданно хорошо, досыта накормили. Повели в баню-«вошебойку».

— Учти, шмотки отберут, — шепнул ему по дороге сосед в шеренге.

Жалко было кожаного пальто, прочная, долгая вещь.

— Никогда у меня больше не будет вот такого замечательного кожаного пальто, — засмеялся Королев. Пророчество сбылось: никогда больше не было у Королева кожаного пальто.

Каждому выдали кусочек хозяйственного мыла с палец величиной, предупредили: на мытье — 15 минут. Некоторые ухитрились повернуть даже маленькую постирушку.

После бани каждому уготовлена была горка одежды: майка, трусы, портянки, ватные штаны, гимнастерка, бушлат, шапка-ушанка и валенки: путь их лежал на север.

Огромная магаданская пересылка располагалась в центре нарождающегося города рядом с тюрьмой, которую все называли Домом Васькова, но кто такой Васьков, чем знаменит, никто не знал. Сюда шли заявки с приисков, здесь формировались этапы. Отсюда начинался великий Колымский тракт — дорога на Голгофу, только не для трех человек, а для сотен тысяч, и шли по ней тоже и разбойники, и пророки, но пророков было больше, чем разбойников...

И тут Королев тоже не задержался: через несколько дней попал в этап. Их усадили в трехтонку ЗИС-5 с крепкой фанерной будкой в кузове, так что стоять было нельзя — только сидеть на скамейке. Конвоир расположился в кабине. Странно, но отсутствие конвоира, сам факт, что никто их теперь всерьез не охранял, действовал угнетающе: значит, действительно бежать некуда. Спрыгнуть с грузовика было равносильно прыжку с теплохода в Охотское море: или ты утонешь в тайге, или доберешься до берега, до людей, которые навесят тебе за этот прыжок новый срок. Никто не прыгал.

Первые километров девятью дорогами была хоть и выбитой, но все-таки относительно спокойной. За поселком Палатка началось Колымское нагорье, серпантин, тряска, но красота неопишная. Дождь, постоянно гуляющий по берегу моря, остался внизу. Было сухо, прохладно, солнечно, сурово.

На остановках «для оправки» все кидались собирать кедровые шишечки, во множестве разбросанные у обочины, косясь при этом на конвоира, вылезавшего из кабины размяться: конвоир-весельчак мог запросто пристрелить за один лишний шаг к шишке, пристрелить абсолютно безнаказанно, поскольку шаг этот всегда можно было назвать первым шагом побега.

Потом пошла грунтовка и трясло так, что было уже не до красот природы. Они ехали четыре дня, впроголодь, без глотка горячего, и путь был так огромен, что казалось — еще один поворот, и откроются просторы Ледовитого океана. И опять, как в пульмане, никто не знал, куда они едут. Шофер не отвечал на вопросы, конвоир тем более. Шли по тракту: Мяжит — Оротукан — Дебин — Ягодное — Бурхала — Сусуман — Берелех. В Берелехе — это был примерно 550-й километр от Магадана — свернули с тракта направо. На пятый день Королев приехал на прииск Мальдяк.

Прииск организован был недавно — в 1937 году, но благодаря усердию Николая Ивановича Ежова в далекой Москве стремительно развивался и повышал свою производительность, хотя числился небольшим, точнее сказать, — типовым лагунком. Бывали лагеря до десяти тысяч человек, а Мальдяк — стандартный, примерно 500—600 зеков работало там в то время.

Поселок представлял собой несколько маленьких деревянных домиков, в которых жили люди вольные, и обширную зону, огороженную колючей проволокой со сторожевыми вышками по углам и десятью большими — в армии их называли «санитарными» — палатками внутри. Вокруг Мальдяка плавными волнами бежали сопки, поросшие низкорослыми, скрюченными ветром лиственницами и расцветшие сейчас роскошными цветами иван-чая. В распадках между сопками неслись к Берелеху чистые ручьи. Тут действительно была просто прорва золота. На одной примитивнейшей бутаре за смену, случалось, добывали до сорока килограммов песка. Там, где выработка была меньше пятисот граммов, уже не копали. Золото лежало буквально под ногами: требовалось только снять верхний слой почвы и начать мыть! В других местах надо было зарываться, но не глубоко, редкий шурф был глубже сорока метров.

Сергею Павловичу пришлось работать и наверху, и под землей. Впрочем, наверху недолго: зима начинается в сентябре, а зимой мыть золото нельзя, и по роду таскают из-под земли в терриконы, копят до весны.

Королев попал на Колыму в разгар ее короткого лета. Первым, самым страшным испытанием были для него комары. Уроженец благословенной Украины, он о таежных комарах слышал, но ничего подобного представить себе не мог. Говорят: «тучи комаров». Тучи имеют границы. А это были не тучи, а нескончаемая, слепая комариная метель. Комары кружили у губ, еще чуть-чуть — начнешь дышать комарами, и они задущат тебя. Когда руки при тачке и защищаться нечем, спасения нет никакого. А комаров столько, что едва трап разглядишь, по которому тачка катится. Перед первыми заморозками появилась на несколько дней мошка. Это был уже суций ад, люди ходили с окровавленными лицами, выли, как звери.

Первый день работы под землей показался Королеву раем: там комаров не было. Да и какой комар может выдержать чад от горящей в нефти пакли. Но очень скоро он понял, что выполнить норму невозможно, а если и выполнишь, блатные пайку не дадут. Вечную мерзлоту кайло, даже американское, не брало, бурили шахтерскими отбойными молотками, закладывали аммонал и взрывали. Руду вывозили где можно на тачках, где нельзя — в коробах на лямках, как бурлаки.

Распорядок жизни в лагере был вечен, как мерзлота. В четыре часа утра — подъем. Завтрак — кусочек селедки, двести граммов хлеба и чай. За зону выводили побригадно: тридцать зеков и один конвоир. Вообще охрана была чисто символическая. Поэтому можно было выйти за зону и без конвоира. «Иду за дровами» — и тебя пропускали.

Добывали золото примерно в километре от лагеря. Работа начиналась часов с семи и шла до двух часов дня, когда привозили обед: миска баланды с перловой или гаоляном. Ложка каши и триста граммов хлеба.

В ту пору на берегах Колымы можно было встретить самых разнообразных

«врагов народа», «троцкистско-зиновьевских прихвостней» и «подлых наймитов вражеских разведок». Школу колымского золота прошли одновременно с Сергеем Павловичем Королевым заместитель командира 6-го кавкорпуса Горбатов, друг Белы Куна, работник Коминтерна Стерн, экономист, редактор «Правды» Грязнов, преподаватель политэкономии Бакинского университета Мазуренко, работник Ленсовета Дубинин, комиссар Ярославской химдивизии Чистяков, начальник Главного управления учебных заведений наркомзема Левин, болгарский коммунист Дечев, будущие писатели Варлам Шаламов и Вячеслав Пальман — воистину там были и академики, и герои, и мореплаватели, и плотники.

Люди держались по-разному. В общем всё, как и на воле: общительные скорее завязывали знакомства, образовывали приятельские группки, хоть в пустынях старались помочь друг другу. Но были и такие, кто сохранил веру в то, что «зря у нас не сажают», а то, что случилось с ними, — ошибка, «увы, ошибки неизбежны». Секретарь Харьковского обкома партии Бобровников считал, например, что во всем лагере он один сидит безвинно. Ни с кем не разговаривал, читал Маркса.

Этим несчастным, обманутым, совершенно зачуханным людям, которые во время следствия потеряли привычные нравственные и моральные ориентиры и теперь наново возвращались, если не к доверию, то хотя бы к нормальному человеческому общению, противостоял сплоченный коллектив уголовников — со своими ясными законами и выверенными традициями, нетронутым, не подвергшимся никакой ревизии кодексом «морали», напротив, в свете всего происходящего в стране лишь укрепившийся в сознании своего превосходства. Из пятисот — шестисот зеков лагеря Мальдяк блатные составляли едва ли десятую часть, но это были лагерные «патриции»: подносчики баланды, хлеборезы, повара, старшие по палаткам, дневальные, нормировщики, учетчики, съемщики золота (каждый в сопровождении двух конвоиров), бригадиры, наконец. Они задавали тон лагерной жизни, судили, били, отбирали еду и одежду. В палатке, где жил Королев, всем командовал «дядя Петя» — известный в своих кругах грабитель поездов. Бригадиром могли назначить и «анекдотчика» (статья 58 УК пункт 10¹). Но лучшим бригадиром среди зеков считался не «урка» и не «анекдотчик», а старый, тертый зек с многолетним стажем, изучивший до тонкостей лагерную жизнь и правила местных взаимоотношений. Такой человек значил для рядового зека несравненно больше, чем, скажем, недоступный начальник лагеря. От него во многом зависело, будет ли бригада передовой или сядет на «гарантийный» паек — 200 граммов хлеба. А передовой она будет, если бригадир «ладит» с нормировщиком, десятником, учетчиком, со всеми, кто дает наряд на объект, определяет норму и расценку, составляет процентовку, акты приемки. А «ладить» можно, только имея «фонд»: продукты из посылок. Это была целая наука, и вовсе не простая.

Колыму раздирало противоречие: с одной стороны, предназначалась она для уничтожения людей, с другой — для добычи золота. Но умирающий не мог добыть много золота, а здоровяк, добывающий много золота, не хотел умирать. Решение было выбрано половинчатое, но позволяющее выполнить худо-бедно обе задачи: высокие нормы. Единственный стимул для их выполнения — хлеб. Даже крепкий зек чаще всего норму выполнить не мог. Ему срезали пайку, он обессилевал и тем более не мог выполнить норму. Начинался лавинообразный процесс гибели зека, но его стремление жить поддерживало при этом сравнительно высокую производительность труда.

Противоречие это отражалось и в действиях лагерной администрации. Садист Гаранин — начальник Севвослага² — мог, приехав в лагерь, за невыполнение пла-

¹ «Пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания». В разъяснениях к этой статье прямо говорилось, что «контрреволюционной пропагандой признается распространение среди узкого круга лиц контрреволюционных мыслей», пусть хоть «какой-либо одной контрреволюционной мысли» письменно, устно и вообще всеми доступными способами, даже «путем каких-либо символических знаков...» Так что для того, чтобы совершить увлекательное путешествие в труднодоступные районы бассейна реки Колымы, достаточно было просто сказать приятно: «А наш-то...» — и покрутить пальцем у виска.

² Северо-восточный лагерь ГУЛАГа, куда входил прииск Мальдяк.

на в назидание расстрелять несколько десятков человек. Но он понимал, что чем меньше людей в лагере, тем меньше песка. Начальники лагерей и бригадиры на своем уровне должны были решать те же проблемы. Стгноить зека дело нехитрое, но ведь неизвестно, когда прищлот новых, сколько их будет и какие это будут люди. Скажем, узбеки или таджики вообще не могли работать на вечной мерзлоте, однако числились по документам, план спускался и на них, и за план этот спрашивали и с простого бригадира, и с начальника Дальстроя комиссара госбезопасности III ранга Павлова. И у бригадира, и у комиссара выход был один — туфта.

Туфта — довольно емкое лагерное слово, обозначающее всевозможный обман официального руководства. Золотодобыча по самой своей природе создавала условия для пышного произрастания туфты: количество золота в породе колебалось в очень широких пределах, рядом стоящие бутары могли отличаться по своей производительности в 50 и более раз. Площадь снятых шурфов также могла «натягиваться» в немалых границах, равно как и объем добытой породы. Короче, все держалось на туфте — обмане, обсчете, приписках. Кто знает, может быть, там, за колючей проволокой сталинских лагерей, — корни хозяйственного растления, всех этих больших и малых фальсификаций, чуть не погубивших наше народное хозяйство многие годы спустя.

Королев видел и понимал все это. Там научился он распознавать туфту — эта наука очень ему пригодится. Там обострился, отточился его природный дар видеть суть человека, потому что на Колыме от дара этого зависела часто жизнь.

Сергей Павлович мало и неохотно рассказывал о годах своего заключения домашним и самым близким сослуживцам. Кроме скупых и отрывочных этих рассказов, существует немало полулегенд о том времени. Согласно одной из них он ударил бригадира за то, что тот избил старика зека, от немоци опрокинувшего тачку, но был прощен.

— Не троньте этого человека, — сказал якобы бригадир, — это наш человек, если он не побоялся меня!

С той поры этот бригадир оказывает Сергею Павловичу покровительство, а на прощание даже дарит ему свой бушлат, который помогает Королеву выжить.

В другой полулегенде вместо безымянного бригадира появляется вполне конкретный человек — Усачев, завоевавший непререкаемый авторитет в лагере благодаря своей огромной физической силе. Он тоже покровительствует Королеву и даже избирает урку, который притесняет Сергея Павловича.

У этой полулегенды есть реальное основание. Михаил Александрович Усачев, человек действительно богатырского телосложения, был директором авиазавода при КБ конструктора Поликарпова. Арестовали его после гибели в декабре 1938 года Валерия Чкалова — любимца Сталина. Королева он знал, когда тот работал на авиазаводе. Еще большее доверие начинаешь испытывать к этой истории, когда узнаешь, что в 1961 году Королев приглашает Усачева, работавшего в авиационной промышленности, в свое КБ и назначает его заместителем главного инженера опытного завода. По свидетельству очевидцев, Усачев неизменно пользовался расположением Главного конструктора, который прощал ему то, чего никогда не простил бы другому.

Наконец, существует как бы полулегенда-«наоборот»: не Королева защищают от урка, а урка «кнацает»¹ Королева. Верится в это с трудом, поскольку согласно лагерной этике подобные взаимоотношения исключались. Королев знал это, но сам рассказывал, что на приiske был некий уголовник Василий, который подкармливал и опекал его. Спустя несколько лет, Сергей Павлович скажет жене:

— Если у меня когда-нибудь будет сын, я назову его Васильком...

Кולי так, то этот неизвестный нам человек с преступным прошлым, историю которого мы вряд ли когда-нибудь узнаем, спас жизнь Сергею Павловичу Королеву в 1939 году. Впрочем, он сделал даже больше в нравственном смысле: он ведь

¹ Кнацать — покровительствовать. (Лагерный жаргон.)

спасал его жизнь, ясно сознавая, что спасти не удастся, — именно такие, как Королев, молодые крепыши, сгорали от голода, пеллагры и цинги быстрее хилых стариков.

Зима накатывалась стремительно, день ото дня становилось все холоднее, все больше маленьких (по большим конвоиры стреляли) костерков светилось на полигоне, и все быстрее жизнь вымораживалась из тела. От холода было одно спасение — работа, движение, человек работал не потому, что проявлял сознательность, и даже не потому, что мечтал о добавке к пайке. Человек работал, чтобы не замерзнуть, чтобы не присесть на камень в сладком бессилии и не заснуть навсегда. Но снова оказывался он внутри замкнутого круга: человек не мог работать, потому что у него не было сил. А сил не было потому, что не было хлеба. А хлеба — потому, что он не мог работать.

Все теснее душило это дьявольское кольцо Королева. Все яснее видел он черные глазницы главного, самого страшного и непобедимого губителя — голода. От комаров зеки могли спастись дымом, от стужи костром, от голода они не могли спастись ничем.

Он думал о еде все время, понимал, что так нельзя, но запретить себе эти мысли был бессилён. Где, как, когда удобнее, у кого, с помощью кого или чего раздобыть корку хлеба? Все, весь мир, вся Вселенная, вращались вокруг корки хлеба.

А потом наступало самое страшное: и эти мысли пропадали. На какой-то предсмертной стадии полная апатия ко всему окружающему овладевала ими, тупое равнодушие и к бедам, и к радостям. Не реагировали и на смерть, не воспринимали труп человека, как воспринимает его человек. Не реагировали и на жизнь. Скажут: надо идти — пойду. Не скажут — не пойду. Станут в прорубь совать — не буду сопротивляться. Отнимут желанную пайку — вчера бы глотку за это перегрыз, а теперь даже на это наплевать: перед смертью от истощения есть уже не хочется. Наступает не только физическая, но и умственная неподвижность, и жизнь тихо гаснет, как выгоревшая до доньшка свеча.

Зимой Королев погиб бы, зиму он бы не пережил — он сам говорил об этом. Зима была страшная: из пятисот заключенных лагеря Мальдяк до весны дожили не больше ста.

15 октября 1938 года Сергей Павлович направил письмо Генеральному прокурору СССР. Отметая все предъявленные ему обвинения, Сергей Павлович закончил его так:

«Вот уже 15 месяцев, как я оторван от моей любимой работы, которая наполняла всю мою жизнь и была ее содержанием и целью. Я мечтал создать для СССР впервые в технике сверхскоростные высотные ракетные самолеты, являющиеся сейчас мощным оружием и средством обороны.

Прошу Вас пересмотреть мое дело и снять с меня тяжелые обвинения, в которых я совершенно не виноват.

Прошу Вас дать мне возможность снова продолжать мои работы над ракетными самолетами для укрепления обороноспособности СССР».

Во всех заявлениях во все инстанции он никогда не ставил свободу на первое место. На первом всегда была возможность работы. Думаю, для Королева работа была важнее свободы.

Посылая это заявление, Королев не знал, что приговор его уже отменен.

Как рассказывала Мария Николаевна, из Магадана Сергей прислал ей письмо, в котором... восхищался отважными летчиками, установившими женский рекорд дальности полета. Их самолет получил нейтральное название «Родина», прежнее — АНТ-37-бис — упоминать было опасно (см. ст. 58, п. 10 УК РСФСР), поскольку сам АНТ — Андрей Николаевич Туполев — к тому времени уже сидел. В письме Королев отдельно поминал Гризодубову и посылал привет «дяде Мише». Мария Николаевна поняла, что сын подсказывает ей, откуда можно ждать

помощи, и быстро разыскала адреса Гризодубовой и «дяди Миши» — Михаила Михайловича Громова.

Королев очень ценил Громова, восхищался им, собирал все вырезки о его полетах и гордился своим знакомством со знаменитым летчиком. Встретились они в ЦАГИ еще во время недолгой работы Королева в авианпроме.

Мария Николаевна пошла к Громову без звонка. Он жил на Большой Грузинской. Стоял ясный весенний день, вдруг как-то сразу полилось с крыш, побежали ручьи. В мокрых фетровых ботах и залезанной капелью беличьей шубке Мария Николаевна выглядела жалковато.

Громов был высок, строен и очень красив, но без сладости признанных красавцев. Ему было сорок лет — мужик в самом соку, он и выглядел на сорок, сидел очень прямо (верховая езда до глубокой старости сохранила его осанку), слушал внимательно. Потом сказал:

— Все ясно. Я постараюсь помочь, но в какой форме, не знаю. Надо посоветоваться с моим секретарем... Видите ли, я ведь беспартийный...

— Сережа тоже беспартийный, — сказала Мария Николаевна.

— Позвоните мне через два-три дня...

Секретарь Громова отнекивался, тянул, давал понять, что звонки ее нежелательны, но недооценил упорства Марии Николаевны (это качество Главный конструктор, бесспорно, унаследовал от матери) и в конце концов передал ей записку Громова Председателю Верховного суда СССР с просьбой принять ее.

Летом 1971 года я посетил Михаила Михайловича дома, в высотном здании на площади Восстания, чтобы узнать подробности его заступничества за Королева, известного мне лишь по рассказам Марии Николаевны.

— Весна 39-го? — переспросил Громов. — Я ездил в Берлин за медалью... Откровенно скажу, я не помню, что мать Королева приходила ко мне, но я действительно хлопотал, чтобы ее принял Председатель Верховного суда, и характеризовал Сергея Павловича как порядочного человека...

В мемуарах, опубликованных в 1977 году (журнал «Новый мир» №№ 1—3), Громов этот эпизод вспомнил. О Марии Николаевне он пишет: «Когда-то, а точнее после моего полета через Северный полюс, она пришла ко мне на Большую Грузинскую с просьбой помочь ей встретиться с влиятельными людьми, которые могли бы устранить трагическую несправедливость, угрожающую ее сыну. Я это сделал».

Мария Николаевна решила обратиться и к Гризодубовой. Валентина Степановна — молодая, красивая, знаменитая — была в зените своей славы. Только что получила она новую квартиру неподалеку от Петровского замка, еще не везде докрашенную, с газетами на полу. (Кстати, защищая пол от краски, необходимо было предвзительно очень внимательно просматривать газеты, чтобы не растелить на полу портрет вождя. Грязный калашный след на газете мог стоить человеку жизни.) Пока Мария Николаевна нашла квартиру, уже стемнело. Дверь открыла Надежда Андреевна, мать Вали. Выслушав Марию Николаевну, всплеснула руками:

— Сережа Королев! Ну как же, такой славный мальчик, я помню его в Коктебеле... — Закричала в дальние комнаты: — Валюша! Иди сюда. Это мама Сережи Королева. Помнишь Сережу?

Вышла Валя, с распущенными волосами, в пеньюаре:

— Сережа... Ну конечно, помню...

Отец всегда брал ее с собой в Коктебель. Она была совсем девчонка, планеристы любили ее и баловали. Феодосия, гостиница «Астория», летчики стояли под балконом, задрав головы и открыв рты, она бросала им в рот виноградины... Есть какие-то пустяки, которые непонятно почему застревают в памяти навсегда. Черноглазый крепыш Сережа Королев. Очень хорошо плавал...

— Вы успокойтесь, что можем, мы все сделаем, — ласково сказала Надежда Андреевна. — Валя, надо написать записку в Верховный суд... Подумать только, и Сережу...

Она вела всю переписку дочери. Героине писали сотни людей — жалоб, просьб защитить, заступиться было очень много. В аппарате Верховного суда

мать Гризодубовой уже знали, говорили: «Ну вот еще одно послание от бабушки Гризодубовой...»

Валентина Степановна отличалась характером взрывным, отчаянным и, если уж что-то решала, шла напролом — недаром она занималась в юности боксом. Могла себе позволить поступки дерзкие, куда более опасные, чем перелет на Дальний Восток. Берии, например, сказала однажды:

— Если вы будете ко мне приставать, я о вас все расскажу Иосифу Виссарионовичу!

Она ходила в Кремль заступиться за Сережу Королева, с большим трудом добралась до Поскребышева и взяла с него обещание, что он непременно передаст ее заявление Сталину. Трудно сказать, показал Поскребышев эту бумагу Сталину или сам дал команду разобраться.

Рассказывая о страшных годах всеобщей подозрительности, доноительства, предательства идеалов и друзей, особенно приятно находить в этой грязи зерна истинного благородства. Это относится не только к Героям — Герою легче быть благородным. Молоденький Гриша Авербух, который работал с Королевым в РНИИ и сразу после ареста Сергея Павловича пришел к Ксении Максимилиановне, — вот это герой! То, что в дом «врага народа» приходили Юрий Александрович Победоносцев и Евгений Сергеевич Щетинков, говорит мне о них больше, чем все характеристики, лауреатские дипломы и орденские книжки, вместе взятые. Сейчас, по счастью, это трудно понять, но в то время поведение Авербуха, Победоносцева и Щетинкова следовало считать не просто благородным, но мужественным.

Если взглянуть на всю историю возвращения Королева с Колымы трезво да подумать, то быстро сообразишь, что для этого недостаточно было хлопот Марии Николаевны и записок Героев. И за других хлопотали, и за других заступались люди авторитетные, однако ж... Главную причину изменения судьбы Сергея Павловича правильно было бы искать в событиях более масштабных, в переменях политики общегосударственной.

Осудив на январском Пленуме 1938 года крутой раскат репрессий, Сталин одной рукой как бы пригрозил слишком усердному Ежову, а другой продолжал его подталкивать: аресты, ссылки и расстрелы продолжались. Но к концу 1938 года Сталин, удовлетворившись (пока!) результатами деятельности НКВД, очевидно, понял, что пора проводить пересменку палачей. Все теперь оборачивалось очень красиво и достойно: в январе Ежову велели поуняться, он не послушался, пусть пеняет на себя... В преддверии XVIII съезда партии Сталин не включает своего недавнего любимца в состав ЦК, снимает с поста главы НКВД и низводит до наркома водного хозяйства РСФСР. 17 ноября 1938 года публикуется Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР о грубейших нарушениях социалистической законности — очередной шедевр сталинского лицемерия. Следом специальное Постановление принимает пленум Верховного суда, в котором указывается, что «в судебной практике имели место случаи неправильного применения ст. ст. 58—7, 58—9 и 58—14 УК РСФСР».

С именем нового наркома НКВД Лаврентия Павловича Берии у Королева связывались самые светлые надежды и чаяния. И не без оснований! Ведь действительно Иванова выпустили, Петрова восстановили в партии, а Сидорова посадили в прежнее высокое кресло. Маленькие факты, подчиняясь человеческому стремлению к справедливости, порождали большие слухи. Всячески поощряемые, они создавали светлый образ чекиста-либерала, верного друга и соратника великого и мудрого вождя, который просто не знал обо всех творящихся в стране ужасах, но теперь-то узнал и вот вместе с новым, пусть строгим, но справедливым наркомом начал ошибки исправлять.

Берия, который был умнее Ягоды и Ежова, вместе взятых, в десять раз, изучив опыт своих предшественников, не мог не понимать, что даже пустячная ошибка, даже небольшой перекося, малейшее отклонение, нет, не от команд, а от невысказанных желаний Сталина, будут стоить ему головы, и должен был задуматься крепко. Ясно, что в кровопускании требовался передых. С другой сторо-

ны, если брать интересующую нас грань проблемы, Берия не мог не видеть все большего внимания вождя к военной технике. Внимание было, а военных специалистов не было — кто расстрелян, кто сидит. Выпускать сидевших, пожалуй, преждевременно. Во всяком случае, нигде, ни в одном выступлении Сталина не уловил Лаврентий Павлович и намек на реабилитацию. Ежов был осужден за перегибы, но жертвам этих перегибов доброе имя возвращено не было. Значит, открывать клетку рано. А вот приспособить этих умных недострелянных зек к работе, держа их при этом за решеткой, было бы правильно. Если зеки сделают что-то стоящее, кто пожнет лавры их успехов? НКВД! Кто стоит «на страже завоеваний»: недоумок Ворошилов со своей конницей и тачанками-ростовчанками или он, Берия, с новыми танками и торпедными катерами? И вождь увидит это. И оценит. Но даже если ничего не выйдет, кто мешает отправить всех спецов обратно в рудники? Никто!

Это время с полным основанием можно назвать временем новой экономической политики НКВД. Очень быстро начинает выстраиваться обширная сеть шараг: всевозможных институтов, лабораторий и конструкторских бюро, в которых работали репрессированные специалисты.

Все это как раз и происходило в тот момент, когда Мария Николаевна Баланина переступала порог большого кабинета, где из-за огромного стола поднялся, внимательно разглядывая ее, тоже очень большой, импозантный сидящий мужчина — Иван Терентьевич Голяков, Председатель Верховного суда СССР, тот самый, прочитав статью которого, так клокотал в теплушке зек Королев. По воспоминаниям Марии Николаевны, внимательно выслушав ее взволнованную речь, первый судья страны в ее присутствии толстым красным карандашом крупно начертил прямо на обложке «дела»: «Пересмотреть!»

Насколько счастливее все мы стали бы, если бы судьи так покорно слушались наших матерей...

Но по документам выходит другое. Дело Королева на пленум Верховного суда СССР с просьбой отменить приговор направляет... Василий Васильевич Ульрих! Да, тот самый страшный армвоенюрист просит отменить приговор, им самим вынесенный!

Угрызения совести исключаются категорически. Вышинский? Вряд ли. Да и зачем это было ему нужно: признаваться в собственных ошибках. Единственный, кто заинтересован в том, чтобы вернуть Королева с Колымы, — Берия. Очевидно, команда Ульриху исходила от него. Очевидно и то, что касалась команда не одного Королева, это был не единственный «пересмотр». В общем, так или иначе 13 июня 1939 года пленум Верховного суда отменяет приговор Военной коллегии от 27 сентября 1938 года.

Королев медленно пересекает в этот момент Россию с запада на восток — он только едет на каторгу! Но он уже не заключенный! Приговор отменен! Он не узнает об этом ни в пересылке на Второй Речке, ни в трюме парохода «Дальстрой», ни в бухте Нагаева, ни в лагере Мальдяк. В декабре 1939 года на берегах золотосной речки Берелех умирал замечательный человек, не только ни в чем не виноватый, но даже не осужденный по закону!

Когда его вызвали к начальнику лагеря и он брел среди сугробов на свет маленьких окошек, он перебрал в уме, казалось бы, все возможные причины вызова, ждал всего, но такого не ждал:

— Королев? Поедете в Москву...

Уже в зоне страшно, до стона в груди заплакал. Стоял трескучий мороз, и слезы жгли лицо, как кипяток.

Окончание следует

КАТАСТРОФА

(ИЗ ХРОНИКИ «КОРОЛЕВ»)

6

У всякого человека есть своя история, а в истории свои критические моменты: и о человеке можно безошибочно судить только смотря по тому, как он действовал и каким является в эти моменты... И чем выше человек, тем история его грандиознее, критические моменты ужаснее, а выход из них торжественнее и поразительнее.

Виссарион Белинский.

В июне 1970 года, отвечая на мой запрос, учреждение, имеющее отношение к магаданским местам заключения, сообщило, что из этих мест Королев Сергей Павлович, 1906 года рождения, уроженец города Житомира, убыл в распоряжение УВД Приморского крайисполкома во Владивосток 23 декабря 1939 года. Эту дату подтвердила и заведующая архивом отдела исправительно-трудовых учреждений управления внутренних дел Магаданского исполкома Исаева: «С личным делом убыл в гор. Владивосток из гор. Магадана 23 декабря 1939 года». «Из своего жизненного опыта, — добавляет она, — я знаю, что когда я с семьей прибыла в Магадан 7 декабря 1952 года, Охотское море было не замерзшим и только недалеко от бухты Нагаева нас встретил ледакол».

Однажды на космодроме Королев заболел гриппом и лежал в своем домике. Его пришли навестить несколько сотрудников. Среди них — баллистик, бывший аспирант Королева в МВТУ имени Баумана, работавший в его ОКБ, — Михаил Сергеевич Флорианский. Он рассказывает:

— Королев встретил нас необыкновенно радушно: «Деточка (так он иногда называл Нину Ивановну) прислала мне конфет, сейчас я вас чаем угощу», — встал с дивана, начал сервировать стол.

В тот вечер сидели мы у Королева допоздна, и совершенно неожиданно для всех он начал рассказывать о годах своей тюремной жизни. В частности, запомнил я такой эпизод.

«Я едва шел в Магадан, сил уже не было, — вспоминал Сергей Павлович. — Но не знаю, как теперь, а в те годы там была традиция: у колодцев оставляли буханку черного хлеба. Я подошел, увидел и зажмурил глаза. Понял: если открою и буханки нет, значит, и меня, считай, нет, я погиб. Открыл глаза — буханка лежит. Эта буханка спасла мне жизнь...»

Не думаю, что Сергей Павлович фантазировал. Очевидно, была эта спасительная буханка. Но как понять: «Я едва шел в Магадан»? В декабре из Мальдяка в Магадан? Но ведь это около 600 километров, а в том состоянии предельного истощения Сергей Павлович и шестидесяти не прошел бы, очень быстро бы замерз, ведь от Мальдяка до Оймякона — полюса холода Северного

полушария, ближе, чем до Магадана. Добирался Королев в Магадан, конечно, только на машине, и не один день, а с конвоиром непременно, и не в одиночку, а, безусловно, с этапом — одного его никто бы не повез. Может быть, именно задержка с формированием этапа и привела к тому, что он опоздал на последний пароход.

Это опять-таки утверждение самого Сергея Павловича. Королев не раз рассказывал, что после освобождения из лагеря он опоздал на последний пароход, идущий из Магадана во Владивосток, и добавлял, что это знак судьбы, потому что пароход этот затонул.

В ту пору на линии бухта Нагаева—Вторая Речка работали теплоходы «Кулу», «Джурма», «Индибирка», «Дальстрой», «Ежов»¹, которые занимались транспортировкой заключенных. Королев имел в виду «Индибирку». Загрузив в трюмы 1064 зека, которых отправляли из бухты Нагаева на пересуд, «Индибирка» 13 декабря 1939 года в штормовом проливе Лаперуза сбилась с курса и села на камни у берегов японского острова Хоккайдо. В трюм хлынула вода, но начальник конвоя запретил открыть люки, обрекая людей на верную гибель. Погибли и два члена экипажа. Остальных моряков и конвой японские спасатели сняли с «Индибирки» и помогли им вернуться во Владивосток. Капитан Лапшин был расстрелян. Начальник конвоя получил восемь лет тюрьмы. Японцам сказали, что в трюмах были рыбаки. Спасатели извлекли трупы погибших и похоронили на берегу японского острова.

Так судьба спасла Королева. Вскоре после ухода «Индибирки» ему удалось на каком-то маленьком суденышке добраться до Владивостока, откуда он был отправлен в Хабаровск...

Силы его ушли в песок золотой реки Берелех. Изнурительная работа на прииске, нервотрепка с пароходами, многодневное плавание по замерзшему морю, голод и цинга — все это привело к тому, что в Хабаровск доставили уже полутруп: Королев потерял четырнадцать зубов, опух и едва мог передвигаться. Он был настолько плох, что начальник пересылки отпустил его без конвоя к докторше. Эта женщина приняла необыкновенно сердечное участие в судьбе полуживого, никому не известного зека, уже занесенного своими товарищами в роковой список тех, кому не выкарабкаться. Она отмыла и перевязала язвы на его ногах, накормила, снабдила витаминами и лекарствами. На следующий день послала в тюрьму два таза с сырой капустой и свеклой — это было лучшее лекарство от цинги.

Королев не раз собирался поехать в Хабаровск, чтобы разыскать свою спасительницу, но всякий раз что-то мешало. Двоюродный дядя Королева, Александр Николаевич Лазаренко, узнав эту историю уже после смерти Сергея Павловича, попробовал в конце 60-х годов с помощью хабаровских комсомольцев-следопытов разыскать докторшу. Найти ее было очень трудно, поскольку на месте пересыльной тюрьмы и барака, где она жила, вырос новый микрорайон, и старожилы просто не существовало. Удалось только установить, что фамилия ее — Днепровская. Вскоре после начала войны она уехала из Хабаровска, а куда — никто не знает.

Чем ближе был дом, тем яснее становилось Королеву, что слова начальника лагеря Мальдяк о возвращении в Москву истолковал он превратно. Возвращение еще не означало освобождения. Вырвавшись с прииска, Королев перестал быть лагерным зеком, но не зеком вообще. И даже больше того, — по мере приближения к столице все менее и менее ощущал он себя человеком вольным. Ни сам он, ни даже многоопытные, со стажем, зеки в пересылках никак не могли понять и объяснить ему его нынешний юридический статус. Если человек был осужден Военной коллегией Верховного суда СССР, а пленум то-

¹ Теплоход «Ежов» сначала именовался «Дзержинский», потом «Ягода», потом «Ежов», затем снова «Дзержинский». Над ним втихомолку потешалось все Приморье, а Советское правительство выплачивало за каждое переименование огромные деньги международному морскому регистру

го же Верховного суда СССР приговор этот отменил, то человека вроде бы должны освободить. Или нет? Еще теплилась детская, наивная и прекрасная надежда, что конвоир сдаст его в Москве, доставит, как ценную бандероль, а после уж, удостоверившись, что это действительно он, его отпустят. Понимал, что все это прекраснодушие от слабости, от тоски по свободе, по дому, по дочке, от почти насмерть замороженной Колымой, но все-таки оставшейся живой и отогревающейся сейчас в нем мечты о продолжении его долгожданной работы. Понимал, что нельзя в его положении ни во что хорошее верить, но верить-то хотелось!

На дальних подступах к Ярославскому вокзалу ждал его черный воронок. А когда вышел из него, ничего и спрашивать не надо было — сразу узнал внутренний двор Бутырки, с которой расстался он семнадцать месяцев назад.

Зловещая слава Бутырской тюрьмы, одной из самых известных в России, мешает взглянуть объективно на замечательный архитектурный памятник. В XVIII веке на месте этом квартировал Бутырский драгунский полк, передавший свое имя «тюремному замку», построенному по указу императрицы Екатерины II великим русским зодчим Матвеем Федоровичем Казаковым. Казакову было 33 года — макушка жизни, энергия была через край, и замок получился славнейший. Но в отличие от других загородных замков, например, Петровского, им же поставленного на Тверском тракте, Бутырский был именно тюремным замком, со всеми вытекающими отсюда особенностями функциональной архитектуры. И в этой работе угадывается талант незаурядный, ибо так все продумал Казаков, что, начиная с 1771 года, когда появился здесь первый узник, до наших дней, когда историческое здание стыдливо прикрыто безликой новостройкой, ни одному злодею не удавалось покинуть темницу по своей воле. Бутырка помнит Емельяна Пугачева, которого привезли сюда в клетке перед казнью, и многих других исторических личностей, включая таких замечательных революционеров, как Кржижановский и Дзержинский, а коротко говоря, памятные доски с фамилиями знаменитых узников могли бы впритык закрыть весь фасад. Сюда приходил Толстой, когда писал «Воскресение», а в 1920 году для политзаключенных здесь пел Шаляпин.

В дни, когда Сергей Павлович вновь оказался в знаменитой тюрьме, Федор Иванович петь политическим уже не смог бы не только потому, что его не было в живых, но и потому, что в Москве не существовало зала, способного вместить всех бутырских «политических». Камера № 66, куда препроводили Королева, была рассчитана на трех человек, но ввиду перенаселения тюрьмы в ней некоторое время могло находиться и пять, а то и шесть человек. Маленькая комнатка со сводчатым белым потолком, с которого спускалась тусклая сиротская лампочка. Стены крашены грубой масляной краской, мерзкий цвет которой было бы затруднительно назвать. Можно только определить его, как «темный». Коричневый с белыми квадратами кафель был очень хорош, крепок, не трескался и даже не покрывался серой паутинкой от многолетнего шарканья расшнурованных арестантских ботинок.

У стены койки шли в два яруса, а под окном, забранным в «намордник», так что никак нельзя было разглядеть, куда же оно выходит, — только вниз. Наглухо привинченные стол и скамейка. Параша в углу. Дверь с «кормушкой». Предельный тюремный аскетизм. Ничего лишнего, все точно так, как надо. Убери хоть одну деталь, и уже не тюрьма, уже пещера...

Я сидел в этой пустой камере, соображая, что могло измениться здесь за последние полвека. Цвет стен? Парашу сменил унитаз. И лампочка та давно перегорела. А стол вполне мог и не меняться. Может быть, за этим столом и писал зек Королез письмо товарищу Сталину...

Сергей Павлович провел здесь всю весну. В РНИИ он ждал ареста. После ареста ждал следствия. После следствия — суда. Теперь, когда приговор его был отменен, он не знал, чего надо ждать. Когда у человека отнимают буду-

щее, ему ничего не остается, как жить прошлым,— ведь чем-то надо жить. Все чаще возвращается Сергей Павлович в мыслях своих к ракетоплану. Следовательно на Лубянке утверждали, что ракетоплан сожжен. Неужели правда, неужели у кого-то поднялась рука уничтожить РП-318?!

Ракетоплан был цел и невредим.

После ареста Королева в РНИИ все гадали: кто следующий? О том, что в делах арестованных назывались фамилии Победоносцева и Шварца, в институте не знали, а поскольку последним арестовали Королева, следующим должен быть Арвид Палло. Он был правой рукой Королева на стенде, он испытывал двигатель «врага народа» Глушко. (Щетинкова в расчет опять не брали по болезни.) Быть может, Палло и арестовали бы, но он взял отпуск и, никому ничего не сказав, уехал с Сашей Косятовым к нему в деревню. Газет не читали, радио не слушали, занимались только рыбалкой и грибной охотой, стараясь не думать о том, что с ними будет, когда они вернутся в РНИИ. Отпуск иссяк, они вернулись, время шло, а Палло не арестовывали. И тогда он начал потихоньку работать. Идея ракетоплана увлекла Арвида Владимировича, слишком много времени и сил он ей отдал и бросать было обидно. Группу Королева после его ареста расформировали. Палло подумал и пошел к Слонимеру с предложением продолжить работы по ракетоплану. Слонимер подумал и согласился: ведь это и было конкретным исправлением последствий вредительства!

Двигатель ОРМ-65, предназначавшийся для ракетоплана, был еще сырой, его пробовали дорабатывать, но известно: мачеха не мать,— Глушко не было, а, значит, никто душой за двигатель этот не болел. Да и побаивались его: несинхронность поступления в камеру компонентов топлива, которую долго пытались устранить, постоянно грозила взрывом.

После ареста Глушко главным специалистом по жидкостным двигателям стал Леонид Степанович Душкин. К этому времени он разочаровался в жидком кислороде как в окислителе и перешел на азотную кислоту, то есть начал заниматься тем же, чем занимался Глушко, но это было тоже уже не «вредительство», а «исправление последствий вредительства»,— Слонимер придумал замечательную палочку-выручалочку. Душкин взялся за двигатель для ракетоплана и двигатель такой сделал. Назывался двигатель РДА-1-150: он разрывал тягу в 150 килограммов.

Осенью возобновились и начатые Королевым еще в июле 1937 года огневые испытания ракеты 212. Только теперь ведущим по этой ракете был не Борис Викторович Раушенбах, а Александр Николаевич Дедов. Наверное, это было поощрение за подпись его под актом техэкспертизы и опять-таки давалась возможность на деле показать свое рвение в ликвидации «последствий вредительства». 8 декабря Костиков, возглавлявший специальную комиссию, подписал решение о допуске ракеты 212 к летным испытаниям. В январе и марте 1939 года 212-я дважды летала на полигоне. В полетах проверялся не только двигатель, но и новая автоматика стабилизации полета. Через много лет Раушенбах вспоминал:

— В первом полете процесс управления протекал нормально, было видно, что автомат стабилизации хорошо справляется с порывами ветра. К сожалению, полет прервало неожиданное раскрытие парашюта, предназначенного для спуска ракеты в конце участка планирования. Второй полет был неудачным, по-видимому, из-за поломки автомата стабилизации. Дело в том, что разгонная катапульта не обеспечивала плавного разгона, вследствие чего ракета испытывала большие ударные и вибрационные нагрузки, а автоматы стабилизации не проходили соответствующих испытаний и их работа, очевидно, могла нарушаться при разгоне...

Как бы там ни было, а Андрей Григорьевич Костиков был доволен главным результатом испытаний: без Королева ракеты пускать можно, и летают они не хуже, чем при Королеве. Теперь то же самое требовалось доказать и с ра-

кетопланом. Поэтому Костинов поддержал инициативу Палло, когда тот предложил продолжить работы, а когда встал вопрос о переводе для этой цели в НИИ-3 Щербакова, тоже не стал возражать.

Алексей Яковлевич Щербаков был человеком энергичным и увлекающимся. С Королевым они познакомились в 1934 году на стратосферной конференции в Ленинграде и с той поры не теряли друг друга из вида. Щербаков работал в Харькове заместителем главного конструктора Калинина. Королев интересовался работами Щербакова прежде всего потому, что тот пробовал запускать планеры на большие высоты. Когда он узнал, что в одном таком полете летчик Владимир Федоров забрался на 12 105 метров, он не выдержал и поехал к Щербакову. Сидели долго, спорили, в общем, познакомились уже по-настоящему. Щербаков очень расстроился, узнав, что Королев — «враг народа», совместная работа его привлекала. Поэтому, когда в конце 1938 года Палло и Душкин попросили его помочь с ракетопланом, он согласился не раздумывая. Требовалось подработать хвостовое оперение, чтобы исключить всякую возможность пожара от раскаленной струи двигателя, а главное — найти толкового летчика, который бы тоже заинтересовался такой фантастической работой и не боялся огненного горшка под хвостом. Щербаков вспомнил о Федорове. Владимир Павлович съездил в РНИИ, посмотрел, как гоняют на стенде РДА-1-150: грохот, жар, пламя, дым коромыслом, — ему понравилось!

Тринадцатый ребенок в семье лесного сторожа, Володя Федоров пас коров, когда впервые в жизни увидел летящий самолет. Забыть это он не смог всю жизнь.

Крестьянствовал, потом работал слесарем на протезном заводе, а самолет этот все летел у него перед глазами. Когда узнал о наборе в Московскую областную школу планеристов, чуть ли не бегом побежал на Первомайскую, где размещалась школа. Обожал все новое. После того, как забрался с планером на высоту двенадцать километров, его спросили: «Ну как?» Ответил просто: «Работать трудно. Нужна герметичная кабина...»

РП-318 — это было дело как раз по нему. Федоров родился чуть-чуть не вовремя. Появись он на свет лет на 15—20 позднее, можно быть уверенным, что он стал бы космонавтом¹.

Весь 1939 год Арвид Палло, Лев Иконников, Алексей Щербаков и пришедшие с ним Наум Старосельский и Владимир Федоров «доводили до ума» ракетоплан Королева. Только в конце зимы стало возможно попробовать его «в деле».

Первые испытания проходили на маленьком подмосковном аэродроме в последний день февраля 1940 года при ясном небе и ярком солнце, редком в такую пору. Сам ракетоплан взлететь не мог, поднимал его летчик Николай Фиксон на Р-5. В буксировщик забрались Щербаков с Палло. Непонятно, как им удалось разместиться в задней кабине, да еще с киноаппаратом.

Вот буксировщик тихонько порулил по снежному полю, выбрал слабинку буксира... Полетели! Фиксон сделал широкий круг, плавно поднялся километра на три. Сейчас Федоров будет отцепляться.

Они летели как раз над аэродромом. Наверняка там сейчас все задрали головы, ждут: полетит самостоятельно эта огненная штуковина или не полетит?

Федоров отцепился!

Щербаков вспоминает:

— Фиксон тут же делает энергичный вираж и пристраивается к ракетоплану метрах в ста слева.

Из донесения Федорова:

«После отцепки на планировании установил направление полета и на скорости 80 км/час, выждав приближение самолета Р-5, наблюдавшего за мной, начал включать двигатель...»

Щербаков вспоминает:

— Мы видим все, что происходит дальше: и рыжий факел пламени, ра-

¹ Владимир Павлович Федоров в 28 лет погиб на испытаниях самолета Ильюшин-на ДВ-3.

спустившийся, как яркий цветок, за хвостом ракетоплана, и энергичное нарастание его скорости, и спокойный, красивый переход в набор высоты...

Из донесения Федорова:

«...Включение двигателя произвел на высоте 2600 м, после чего был слышен ровный, не резкий шум... Примерно на 5—6-й секунде после включения двигателя скорость планера выросла с 80 до 140 км/час... После этого я установил режим полета с набором высоты и держал его до конца работы двигателя. За это время ракетоплан набрал 300 метров...»

Щербаков вспоминает:

— Ракетоплан быстро ушел от нас с набором высоты. Все попытки продолжать наши наблюдения не увенчались успехом. Несмотря на максимальное увеличение оборотов мотора, самолет безнадежно отстал от ракетоплана.

Из донесения Федорова:

«На всем протяжении работы двигателя никакого влияния на управляемость ракетоплана замечено не было. Планер вел себя нормально... вибраций не ощущалось... Расчет и посадка происходили нормально».

Щербаков вспоминает:

— С включением двигателя ракетоплан летал еще три раза. Испытания приостановились из-за недостатка горючего. А в общем, он был никому не нужен. У авиапрома своих дел было невпроворот, наркомат оборонной промышленности, в ведении которого находился НИИ-3, тоже нами не интересовался, это была для него тематика побочная. У ракетоплана не было хозяина, он стоял под открытым небом и тихо гнил. А потом началась война и тут уж всем было не до ракетоплана...

Значение РП-318 в жизни его конструктора, в истории авиации и ракетной техники надо не преувеличивать и не преуменьшать. Действительно, ракетоплан Королева был первым в нашей стране пилотируемым летательным аппаратом, использующим для своего движения силу реактивной струи. Но, с другой стороны, даже если исключить то, что успех был относительный — двигатель оказался хуже, чем думали, тяги в 150 килограммов он не набрал, от силы 90, — но даже если все это в расчет не принимать, все равно РП-318 — тупиковая ветвь авиационной техники. Вскоре, в начале войны, на ней появятся еще один отросток — ракетный перехватчик БИ. И у нас, и в других странах еще будут делаться попытки скрестить жидкостный ракетный двигатель с самолетом, но жизнестойких гибридов получить не удастся. ЖРД не прижился в авиации и прижиться не мог, потому что сразу наткнулся на алогизм: зачем же возить с собой окислитель, если сам летательный аппарат купается в окислителе — кислороде окружающей его атмосферы. Двигатель этот нужен там, где атмосферы нет, нужен не авиации, а космонавтике. Поэтому не совсем верно называть, как это делают иногда, РП-318 предком реактивных самолетов наших дней¹. Скорее это предок «Шаттла», «Бурана» и всех других космических аппаратов многоазового использования, которым предстоит крепко привязать к нашей жизни околоземное пространство в XXI веке.

У ракетоплана была трудная и печальная судьба. Как и у его конструктора в те годы. Ракетоплан погиб. Конструктор выжил. Вспоминая о полете РП-318, гирдовец И. А. Меркулов писал, что полет этот мог состояться на два года раньше, а отсрочка произошла «по организационным причинам». Ну, назвать их «организационными» вряд ли правильно. Биограф Королева П. Т. Асташенков более точен: «По независящим от самого конструктора обстоятельствам он не присутствовал на летных испытаниях...» В то время, когда летчик Федоров включил двигатель ракетоплана, вагон, в котором этапировался его конструктор, приближался к Москве. Обстоятельства действительно от него не зависели.

¹ Например такие опытные авторы, как Е. И. Рябчиков и А. С. Магид, в книге «Становление», посвященной началу творческой деятельности А. Н. Туполева (Изд-во «Знание», 1978 год), пишут: «Его (Королева — Я. Г.) «реактивный планер» стал предтечей всех реактивных самолетов». Но ведь это не так! РП-318 не оказал существенного влияния на появление и развитие реактивной авиации.

Не только присутствовать на испытаниях, но просто выйти из вагона он не мог. Через день он услышит:

— Королев! На выход с вещами!

Пройдет много лет, и Королев соберет в своем доме в Останкино друзей. Охрана особняка, отпирая калитку, будет пытливо рассматривать гостей академика. Кто-то вспомнит об этом среди дружеского застолья, и Сергей Павлович скажет с улыбкой:

— Вы знаете, никак не могу отделаться от мысли, что они в любой момент могут зайти ко мне в дом и крикнуть: «Королев! А ну, падло, собирайся с вещами!..»

7

Восемь лет — это не маленькая часть человеческой жизни.

Михаил Зощенко.

Весной 1940 года самым большим тружеником в НКВД был Валентин Александрович Кравченко — начальник 4-го специального отдела, занимающегося организацией шарашек. Это было действительно совсем непростое дело. Надо было продумать всю структуру, установить, какие люди действительно нужны, разыскать их в необозримой россыпи островов архипелага ГУЛАГ, доставить в Москву, рассортировать по специальностям, создать условия для работы.

Непосредственный начальник Валентина Александровича — Амаяк Захарович Кобулов, выдающийся мастер заплочных дел, правая рука Лаврентия Павловича, вместе с ним потом и расстрелянный, занимал в то время кресло начальника экономического управления НКВД. Он совсем измучил бедного Кравченко, требуя от него ежедневных подробных докладов, и сам почти ежедневно докладывал о ходе дел Берии. А Берия докладывал Сталину. На каждом докладе надо иметь какой-то фактик, маленький козырь, спросит — а ты тут же и выложил, без тени бахвальства, скромно, как будто все само собой разумеется. Берия в отличие от Ежова, который всякий раз мчался к Сталину с разными приятными, по его мнению, для вождя пустяками, никогда не торопился. Он ждал, когда Сталин сам вызовет его. Одно это невольно создавало впечатление предельной загруженности, постоянной сверхмерной занятости Лаврентия Павловича. А если уж он докладывал, то всегда безошибочно улавливал настроение Сталина и точно знал, когда, что и сколько надо говорить. Настроение надо было именно уловить, его нельзя было заранее вычислить, предсказать, ибо Сталин был непредсказуем, переходы от ярости к добродушию, точнее от желания карать к желанию миловать — не подчинялись никаким законам логики и здравого смысла. Берия понимал, что не следует льстить Сталину, убеждая его, будто сделанное есть прямое воплощение его идей, — так, он видел, поступали многие. Это грубо. Кроме того, у Сталина была отличная память, и он никогда не забывал, что действительно принадлежит ему, а что приписывается льстецами. Как это ни покажется странным, несмотря на то, что Сталин действительно многие годы тщательно возводил пирамиду своего культа, в ближайшем кругу — да нет, какие они соратники, — в кругу ближайших слуг, он очень бдительно относился к лестии. Льстить было нужно, но чень осторожно.

В равной степени не следовало и представлять сделанное итогом собственной инициативы, ибо ничто так мгновенно не настораживало Сталина, как всякое проявление самостоятельности. Нет, любой доклад должен был показать реальный итог собственных усилий в результате частного приложения общих, глобальных идей Сталина в конкретных условиях. Но и при этом не следовало делать это грубо, как делали, скажем, военные: «Руководствуясь высказанными вами пожеланиями...» Не надо. Надо, чтобы Сталин сам увидел, что его пожеланиями постоянно руководствуются. Именно так, выбрав удобный момент, Берия получил сталинское благословение на шараги.

Теперь настала пора быстрых и решительных действий. Теперь надо заставить всех этих спецов работать с утроенной энергией. Берия прямо сказал Туполеву:

— Давайте договоримся, Андрей Николаевич: самолет в воздух, а вы все — по домам!

— А не думаете ли вы, что, и находясь дома, можно делать самолеты? — нахмурившись спросил Туполев.

— Можно! Можно, но опасно. Вы не представляете себе, какое на улицах движение, автобус может задавить. — Лаврентий Павлович был человек тонкого юмора. Но Туполев почему-то не улыбнулся.

Предназначенных для шараг заключенных надо было немного приодеть и откормить, поскольку многие из них ни для какой работы не годились, особенно колымские, норильские и доходяги с архангельских лесоповалов. Впрочем, поговори с зеками, и непременно отыщется неизвестный ранее, еще более глубокий ад, и предела — самого страшного места — определить нельзя.

Буквально на следующий день после прибытия Королева в Москву Ксения Максимилиановна получила записку, в которой он просил прислать ему башмаки, носки и два носовых платка. Крепких башмаков не нашли, отчим послал свои. И Ксана, и Мария Николаевна, и старики Винцентини ликовали: выпускают! Мария Николаевна каждый день ходила в приемную НКВД, где вопросы ее вызывали искреннее удивление:

— Как не пришел? Ну, значит, сегодня придет...

А на следующий день снова:

— Неужели не пришел? Ну, имейте терпение...

Была Мария Николаевна и у заместителя главного военного прокурора Афанасьева, и у помощника главного военного прокурора по спецделам Осипенко, и все просили чуть-чуть подождать, не волноваться. 19 июня Осипенко сказал даже ласково:

— Следствие закончено. Не тревожьтесь, идите спокойно домой, о судьбе сына я вам напишу...

Верили! Столько раз обманутые, продолжали верить! Доверчивость — родимое пятно порядочных людей. И представить себе не могли, что уже вовсю реализуется грандиозный план строительства великой рабской системы, что для осуществления этого плана, кроме башмаков и носовых платков, всем этим зекам-интеллектуалам — и тем, кто еще не был осужден, и тем, кому прежние приговоры отменили, — кроме башмаков, им еще «срок» нужен.

Только в середине июля все тот же безукоризненно вежливый дежурный в приемной НКВД с серьезным и даже чуть скорбным выражением лица объяснил Марии Николаевне, что прежний приговор ее сыну действительно отменен, но... Но он вновь осужден Особым совещанием НКВД на восемь лет исправительно-трудовых лагерей.

— Понимаете, — с интеллигентной вкрадчивостью объяснил он, — главное, что теперь он не лишен прав!

Мария Николаевна посмотрела ему в глаза и спросила:

— А зачем нужны права человеку, который сидит в тюрьме?

— О, вы многого не понимаете!.. Так нельзя говорить, — кричал вдогонку ей вежливый дежурный...

Королева возили на Лубянку, несколько дней просидел он во внутренней тюрьме, допрашивали. Можно даже сказать, не допрашивали, а расспрашивали, и пальцем никто не тронул. То, что мечтал ок сделать на суде, он сделал теперь: в деталях объяснил всю абсурдность предъявляемых ему обвинений. И с ним не спорили! Не перебивали, не одергивали! А если и задавали вопросы, то никаких ловушек он в них не видел. Ну теперь-то все разъяснилось, теперь-то законность восторжествует!

2 июня Королев пишет записку прокурору Осипенко, просит вызвать его для беседы. Никто не вызывает. Через неделю пишет Главному прокурору СССР Панкратьеву: «...прошу Вас вызвать меня для беседы с Вами, или с лицом по Вашему указанию... Убедительно прошу Вас не отказать в моей просьбе».

В просьбе отказали: никто его не вызвал и на этот раз. А зачем вызывать? Ведь дело-то уже сделано, обвинительное заключение в экономическом управлении уже сочинили.

Всего ждал он: новой канители, крючкотворства, казуистики, нелепостей — всего, но только не этого приговора! Осудили безвинного человека, и как! Исподтишка, заочно, даже посмотреть на него не захотели. Угадывалась во всем этом какая-то знакомая по лагерю блатная хамская трусость: пришли и, в глаза не глядя, сунули под нос вот эту бумагу, в которой, кроме имени и дат, не было ни слова правды.

«ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по след. делу № 19908

по обвинению Королева

Сергея Павловича по ст. ст. 58—7; 58—11 УК РСФСР

28 июня 1938 года НКВД СССР за принадлежность к троцкистской, вредительской организации, действовавшей в научно-исследовательском институте № 3 (НКВ СССР)¹, был арестован и привлечен к уголовной ответственности бывший инженер указанного института Королев Сергей Павлович.

В процессе следствия Королев признал себя виновным в том, что в троцкистско-вредительскую организацию был привлечен в 1935 году бывшим техническим директором научно-исследовательского института № 3 Лангемаком (осужден).

В процессе следствия по делу Лангемака он специально о Королеве допрошен не был и об участии последнего в антисоветской организации показал, что знал об этом со слов Клейменова — бывшего директора НИИ-3 (осужден). (л. д. 41)

По заданию антисоветской организации Королев вел вредительскую работу по срыву отработки и сдачи на вооружение РККА новых образцов вооружения (л. д. 21—35, 53—55, 66—67, 238—239).

Решением Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 27 сентября 1938 года Королев был осужден к 10-ти годам тюремного заключения.

13 июня 1939 г. Пленум Верховного Суда СССР приговор Военной Коллегии Верховного Суда СССР отменил, а следственное дело по обвинению Королева было передано на новое расследование (см. отдельную папку судебного производства).

В процессе повторного следствия Королев показал, что данные им показания на следствии в 1938 году не соответствуют действительности и являются ложными (л. д. 153—156).

Однако имеющимися в деле материалами следствия и документальными данными Королев изобличается в том, что:

В 1936 году вел разработку пороховой крылатой торпеды.

Зная заранее, что основные части этой торпеды — приборы с фотоэлементами для управления торпеды и наведения ее на цель — не могут быть изготовлены центральной лабораторией проводной связи, Королев с целью загрузить институт ненужной работой усиленно вел разработку ракетной части этой торпеды в 2 вариантах.

В результате этого испытания четырех построенных Королевым торпед показали их полную непригодность, чем нанесен был ущерб государству в сумме 120000 рублей и затянута разработка других, более актуальных тем (л. д. 250—251).

В 1937 году при разработке бокового отсека торпеды (крылатой) сделал вредительский расчет, в результате чего исследовательские работы по созданию торпеды были сорваны (л. д. 23—24, 256).

¹ К этому времени бывший РНИИ снова сменил «хозяина» и стал подчиняться Народному комиссариату боеприпасов

Искусственно задерживал сроки изготовления и испытания оборонных объектов (объект 212) (л. д. 21, 54, 255).

На основании изложенного

ОБВИНЯЕТСЯ

Королев Сергей Павлович, 1906 года рождения, урож. гор. Житомира, русский, гр-н СССР, беспартийный, до ареста — инженер НИИ-3 НКВ СССР, в том, что:

являлся с 1935 года участником троцкистской вредительской организации, по заданию которой проводил преступную работу в НИИ-3 по срыву отработки и сдачи на вооружение РККА новых образцов вооружения, т. е. в преступлениях ст. ст. 58-7, 58-11 УК РСФСР.

Виновным себя признал, но впоследствии от своих показаний отказался.

Изобличается показаниями: Клейменова, Лангемака, Глушко, показаниями свидетелей: Смирнова, Рохмачева, Косятова, Шитова, Ефремова, Букина, Душкина¹ и актами экспертных комиссий.

Дело по обвинению Королева направить в Прокуратуру Союза ССР по подсудности.

Обвинительное заключение составлено 28 мая 1940 года в г. Москве.

Следователь следчасти ГЭУ НКВД СССР мл. лейтенант госбезопасности Рябов.

Пом. нач. следчасти ГЭУ НКВД СССР ст. лейтенант госбезопасности Либенсон.

«Согласен». Нач. следчасти ГЭУ НКВД СССР майор госбезопасности Влодзимирский.

«Утверждаю». Зам. нач. главного экономического управления НКВД СССР майор государственной безопасности Наседкин.

26 мая 1940 г.²».

На первой странице размашисто, небрежно, толстым черным карандашом: «8 лет ИТЛ. 10/VII-40». И закорючка-подпись.

Приговор 1940 года был для Королева во сто крат суровее приговора 1938 года. Когда ранним июньским утром везли его с Конюшковской на Лубянку, стало страшно: тюрьма! Но это была абстрактная тюрьма, и думал он тогда прежде всего о заточении, не ведая о физических и душевных муках, его ожидающих, о постоянных невыносимых унижениях человеческого достоинства, о хамском произволе блатных, о синей баланде, желтых сталагмитах промерзших сортиров, о мошке, вшах, холоде, голоде... Теперь само понятие «тюрьма» было наполнено для него совсем другим, душу ледяющим смыслом. Теперь он знал Колыму, знал: это не заточение, это — смерть.

В 38-м он быстро понял: виновен или не виновен, все равно осудят. Но теперь, если разобрались, если вызвали с края света и отменили приговор, как же теперь-то можно осудить?! И зачем тогда весь этот дьявольский фарс? Начали убивать и убили бы. Но ведь не убили! Он жив! А раз так, надо бороться. Прежде всего надо написать Сталину. Не жаловаться, не просить помилования. Просто объяснить, что совершается ошибка государственная. В конце концов дело совсем не в нем. Работа, которую он начал, важнее его жизни, ибо она способна сохранить жизнь тысячам людей. Сталин не может не понять, какой вред приносит этот приговор обороноспособности страны, его страны, державы Сталина! Надо писать Сталину...

¹ 11 августа 1956 года в связи с заявлением С. П. Королева в Главную военную прокуратуру полковник Терехов подал протест в Военную коллегия Верховного суда СССР, в котором называются фамилии почти по тому же списку, но говорится прямо противоположное:

«Допрошенные в 1939 году (почему в 39-м, не совсем ясно. Возможно, это ошибка.— Я. Г.) работники НИИ-3 в качестве свидетелей: Рохмачев Н. В., Косятов А. С., Шитов Д. А., Ефремов А. П., Букин В. А., Душкин Л. С., Колянова М. П., Дедов А. Н., никаких показаний о контрреволюционной деятельности Королева не дали». Можно допустить, что все эти свидетельские показания были настолько общи, невняты и расплывчаты, что могли трактоваться и так и эдак.

² Как мог майор Наседкин утвердить 26 мая то, что было составлено 28 мая,— одна из загадок этого дела.

Королев не знал, что вопрос согласован. Берия снова выбрал удобный момент и получил от Сталина разрешение на заочное рассмотрение дел оборонных специалистов. Он очень толково и ясно объяснил вождю, что вина каждого из арестованных бесспорно доказана в процессе следствия, а вызывать всех их на суд нецелесообразно, поскольку это только отвлекло бы их от работы, сбило мысли с нужного направления. Но Королев не знал, как Лаврентий Павлович заботится о нем, и решил написать Сталину.

Заявление это — интереснейший документ эпохи и, несмотря на немалый объем, заслуживает того, чтобы привести его целиком.

«г. Москва. ЦК ВКП(б) Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Королева Сергея Павловича

ЗАЯВЛЕНИЕ

Советские самолеты должны иметь превосходство над любым возможным противником по своим летно-тактическим качествам. Главнейшие из них — скорость, скороподъемность и высота полета. Сейчас в авиации повсеместно создано положение, при котором самолеты нападения почти не уступают по качеству самолетам-истребителям, а также и другим средствам обороны. Это дает возможность нападения воздушному противнику на большинство объектов внутри страны. Это подтверждает и опыт последних войн. Только решающее превосходство в воздухе по скорости, скороподъемности и высоте полета м. б. надежным средством защиты. Это условие необходимо и для успеха наступательных действий авиации и в настоящее время зачастую предопределяет успешный исход всей кампании в целом. Обычная винтомоторная авиация в силу самого принципа своего действия (двигатель внутреннего сгорания, гребной винт — пропеллер) уже не может дать нужного превосходства самолетам обороны над им же подобными самолетами нападения. В этом отношении обычная авиация стоит почти у своего предела, а все ее средства, как-то: наддув, винт переменного шага, парогазодвигатели или турбины и пр. — все это полумеры, а не выход из создавшегося кризиса.

Выход только один — ракетные самолеты, идея которых была предложена Циолковским. Только ракетные самолеты могут дать преимущество над лучшими винтомоторными самолетами, а именно: по скорости в 1,5—2 раза и более; по скороподъемности в 8—10 раз и более; по высоте полета в 1,5 раза и более, а также по своей неуязвимости, мощности поднимаемого вооружения и т. д. Для ракетных самолетов область огромных скоростей и высот есть не препятствие в работе, а фактор благоприятный в силу самого принципа действия ракет, в отличие от винтомоторных самолетов, областью которых являются относительно малые скорости и высоты полета. Значение ракетных самолетов, особенно сейчас, исключительно и огромно. За рубежом уже 15—20 лет во всех крупных странах интенсивно ведутся работы над ракетами вооружения, а в основном — над созданием ракетного самолета, чего, однако, до 1938 года достигнуто с успехом нигде не было (в Германии — Оберт, Зенгер, Тиллинг, Оппель и др., во Франции — Руа, Бреге, Девильер и др., в Италии — Крокко и др., в США — Годдар и др. и т. д.). В Советском Союзе работы над ракетными самолетами производились мною фактически с 1935 года в НИИ № 3-НКОП. Аналогичных работ никем и нигде в СССР не велось. До моего ареста (28 июня 1938 года) за 3,5 года работы были осуществлены несколько типов небольших ракет (до 150 кг весом) разных моделей и агрегатов и произведены сотни их испытаний на стендах и в полете. Был разработан ряд вопросов методики и теории ракетного полета и издан в печати и пр. Впервые в технике в 1938 году с успехом были произведены основные испытания небольшого ракетного самолета (весом 700 кг). Испытания его в полете были с успехом закончены в апреле 1940 года, что я узнал из акта технической экспертизы. В сказанного видно, что, несмотря на очень малый срок моей работы над проблемой ракетного полета и ее общеизвестные огромные технические трудности, сложность, новизну, особую секретность и отсюда — полное отсутствие литературы, зарубежного опыта, консультаций и пр., несмотря на все это, кое-что было сделано, правильное начало было положено.

Целью и мечтой моей жизни было создание впервые для СССР столь мощного оружия, как ракетные самолеты. Повторяю: значение этих работ исключительно и огромно. Однако все эти годы я лично и мои работы подвергались систематической и жестокой травле, всячески задерживались и т. п. ныне арестованным руководством НИИ-3 — Клейменовым, Лангемаком и группой лиц: Костиков (сейчас зам. дир. НИИ-3), Душкин и др. Они по году задерживали мои производственные заказы (212), увольняли моих сотрудников или их принуждали к уходу (Волков, Власов, Дрязгов и др.), распускали обо мне слухи и клевету на партсобраниях (Костиков), исключали меня без причин и вины из сочувствующих ВКП(б), публично вывели из совета ОСО и многое другое. Обстановка была просто невыносимая, о чем я писал, например, 19 апреля 1938 г. в Октябрьский райком ВКП(б). Они же ввели в заблуждение органы НКВД, и 27 июня 1938 года я был арестован. Клейменов, Лангемак и Глушко дали клеветнические показания о моей якобы принадлежности к антисоветской организации. Это гнусная ложь, и это видно хотя бы из следующего: конкретных фактов нет, да и не может быть; Клейменов и Лангемак взаимно ссылаются о том, что якобы один слышал от другого, при этом в разное время и т. п. Выдаваемые ими за акты вредительства с моей стороны: сдача заказа на ракеты в авиатехникум в 34 г., задержки в ракете 217 и высотной ракете, даже сами по себе, если разобраться, никак не могут быть истолкованы, как вредительство. Кроме того, сдачу заказа в авиатехникум, как легко и проверить, я не производил, ее дали Щетинков и Стеняев. Над высотной ракетой я вообще не работал, а объект 217 по своему объему ничтожно мал, да и был выполнен досрочно. Костиков, Душкин и др. никогда не видели в действии объектов моих работ и не знали даже как следует их устройства, но они представили в 38 г. в НКВД лживый «акт», порочащий мою работу и безграмотно искажающий действительность. В 1938 году следователи Шестаков и Быков подвергли меня физическим репрессиям и издевательствам, добываясь от меня «признаний». Военная коллегия, не разбирая сколь-либо серьезно моего дела, осудила меня на 10 лет тюрьмы, и я был отправлен на Колыму. В частности, на суде меня обвиняли в разрушении ракетного самолета, чего никогда не было и который эксплуатируется и сейчас, в 1940 году. Но все мои заявления о невиновности и по существу обвинений оказались безрезультатны. Сейчас я понимаю, что клеветавшие на меня лица старались с вредительской целью сорвать мои работы над ракетными самолетами. Уже более года как отменен приговор и 28/V с. г. окончено повторное следствие, причем: моими показаниями и повторной экспертизой от 25/V 40 г. опровергнуты обвинения и клеветнические показания на меня, но повторное следствие не встало на путь объективного разбора моего дела, а, наоборот, всячески его замазывает и прикрывает юридическими крючками, а именно: эксперты Душкин, Дедов, Калянова используются вновь, как свидетели (что незаконно), мне не предоставлено дачи объяснений по их показаниям, или очных ставок и пр. Свидетели с моей стороны не допрошены, я не допрошен подробно по показаниям арестованных и пр. и, наконец, мне снова предъявлено обвинение по ст. 58 п.п. 7 и 11, что явно неправильно и нелепо. Третий год скитаюсь я по тюрьмам от Москвы до бухты Нагаева и обратно, но все еще не вижу конца. Все еще меня топят буквально в ложке воды, зачем-то стараются представить вредителем и пр.

Я все еще оторван от моих работ, которые, как я теперь увидел при повторном следствии, отстают до уровня 1938 года. Это недопустимо, а мое личное положение так отвратительно и ужасно, что я вынужден просить у Вас заступления и помощи. Я прошу назначить новое объективное следствие по моему делу. Я могу доказать мою невиновность и хочу продолжать работу над ракетными самолетами для обороны СССР.

С. Королев».

Все есть в этом письме. Прежде всего невероятный заряд энергии и негибаемая вера в свое дело. Кремлевскому владыке бутырский острожник читает целую лекцию о путях развития авиации. Досада, злость на людей, оклеветавших его, жгучая боль от несправедливости мучительной и многолетней — тоже тут. Обида его велика, и сам он тоже несдержан, не везде справедлив. Но, опять-таки, не это главное. Главное: дайте работать, дело отстает, подчеркивает: «Это недопустимо!»

Если бы Сталин читал такие письма, взгляд его, надо думать, задержался бы на послании Королева. Потому задержался бы, что сам вид этого документа необычен. Трудно поверить, но все заявление Королев уместил на одном (!) листке, вырванном из ученической тетради по арифметике. От самого верха до нижнего предела, без полей, с двух сторон в каждой клеточке листка — бирюо ясные, четкие буквы, словно выцарапанные иглой. На расстоянии вытянутой руки листок этот уже не воспринимается как рукопись, а кажется просто клочком какой-то фиолетовой рябенькой бумаги. Когда поставят памятник жертвам «культы личности» и организуют музей, — а его непременно организуют! — письмо это должно экспонироваться в главной витрине.

Есть и второй, точно такой же листок, слово в слово повторяющий первый. Он написан в тот же день на точно такой же тетрадной страничке. Только адресат другой: Берия. Почти нет разночтений и с третьим экземпляром, написанным через десять дней и адресованным Прокурору СССР Панкратьеву. Сталина и Берию он просит назначить новое объективное следствие, Панкратьева — отменить приговор. Он понимает теперь: пройдет буквально несколько дней, сколотят новый этап, засунут в теплушку и отвезут обратно на Вторую Речку. И тогда — зима и смерть. «Прошу Вас задержать исполнение решения Особого совещания, само решение отменить, а дело мое снова передать на объективное расследование...», — эти слова в своем письме Сергей Павлович подчеркивает. Впервые в противовес допрошенным свидетелям он просит вызвать других свидетелей: профессора Пышнова, профессора Юрьева, инженера Дрязгова, а также экспертов Щетинкова и Кисенко, просит очные ставки. «Я могу доказать свою полную невиновность и прошу дать мне эту возможность», — пишет Королев. Но возможность эту ему не дали. Нет, не отказали. Просто никакого ответа на все эти послания не было.

13 сентября Королев написал новое заявление: «Прокурору Союза ССР из Бутырской тюрьмы, камера 66». Уже не просит ни следствие новое назначить, ни приговор отменить. Одна просьба: «вызвать меня для личных переговоров».

И на этот раз тоже никто его ни для каких переговоров не вызывал, но бывают же совпадения. Именно 13 сентября, когда Королев писал свое заявление в камере № 66 Бутырской тюрьмы, судьба его была, наконец, решена, — Кобулов вынес постановление: «Осужденного Королева как специалиста — авиационного конструктора, подавшего заявление с предложением об использовании, перевести в Особое техническое бюро при НКВД СССР».

8

Особенно много времени уделял товарищ Сталин воспитанию конструкторов.

Александр Яковлев,
авиаконструктор.

Авиация — это не ракетная техника, авиация — дело серьезное. В 38-м на Лубянке следователь говорил Королеву: «Занимались бы делом и строили бы самолеты. Ракеты-то, наверное, для покушения на вожда?..»

А раз авиация — дело серьезное, то и сажать авиационных специалистов начали раньше ракетчиков, и посадили многих.

Туполева взяли 21 октября 1937 года прямо в рабочем кабинете, — пришли и увели. По делу Туполева проходило более двадцати человек, и все дали показания, что Туполев — враг народа. Кроме основного — организации «рус-

ско-фашистской партии», — Туполеву «липили» связь с профессорами-кадетами, высланными за границу, вредительство при подготовке рекордных перелетов Громова, внедрение порочной американской технологии, срыв сроков строительства новых корпусов ЦАГИ и несовершенство всех самолетов, созданных в его КБ, даже тех, которые всем авиационным миром признавались вершиной современной конструкторской мысли. Туполева не били, — поддерживали немного «на конвейере», что для него, человека тучного, было особенно мучительно. А потом применили прием древний, как мир, хорошо выверенный и почти всегда срабатывающий: сказали, что, если не «признается», семье конец, — жену в лагерь, сына и дочку в детские дома. Через неделю после ареста он во всем «признался», а через полтора месяца, на новом допросе, добавил еще, что повинен в срыве перелета Леваневского через полюс в Америку в 1935 году¹ и его гибели в 37-м, а также в шпионаже в пользу Франции аж с 1924 года. Сказал, что в 1935 году он лично передал в Париже шпионские сведения министру авиации Франции Денену. Удивительно, как бдительным следователям не пришло в голову: а почему, собственно, шпионские сведения надо передавать министру, когда для этого существует масса опытных агентов «Сюрте Женераль».

Туполев долго сидел в Бутырках, никто его никуда не вызывал, о нем словно забыли. Он прибрассывал в уме новый бомбардировщик, объяснял своим сокамерникам, что в его жизнь вторглось нечто мистическое: надо же, статья 58-я, камера в Бутырке № 58, и новый самолет, если соблюдать нумерацию, будет АНТ-58! Однако почему же его мурыжат и что там они замышляют?

Следствие закончилось в апреле 1938 года, но суда не было, а стало быть, и этапировать его было нельзя. Андрей Николаевич не знал, что следователь его — лейтенант Есипенко — вовсе не забыл о нем и сам вынужден был объяснять своему начальству, что «дело с обвинительным заключением находилось без движения до разрешения вопроса об использовании Туполева на работе в Особом Конструкторском Бюро».

«Разрешение вопроса» приближалось. К этому времени относится как раз организация шараги в Болшево — подмосковном дачном поселке. Впрочем, шарагой в чистом виде она не была, как не была тюрьмой и пересылкой, — это был своеобразный гибрид, выведенный лубянскими «селекционерами», который точнее всего можно назвать мозговым отстойником или интеллектуальным сепаратором. Сюда свозили зеков-оборонщиков из всех тюрем и лагерей Советского Союза. В просторном спальном бараке с чистым полом и ласковыми голландскими печками, словно в огромной шкатулке, накапливались невероятные национальные сокровища: смелые идеи, дерзкие проекты, конструкторские озарения, немыслимые изобретения. В бараке сидели люди, большинство из которых в своей области были лидерами мирового масштаба: теоретики и конструкторы пушек, танков, самолетов, боевых кораблей. Артиллерист Евгений Александрович Беркалов, автор «формулы Беркалова», по которой во всем мире рассчитывались орудия, создатель тяжелой артиллерии русского флота, бывший полковник царской армии. Ему было около семидесяти — крепкий, жизнерадостный старик с абсолютно ясной головой.

Летчик и авиаконструктор Роберт Бартини, за всю свою жизнь он не создал ни одной тривиальной серой машины. Биография его годилась для приключенческого романа. Во время первой мировой войны сидел в плену во Владивостоке. Вернулся в Италию. В 1921-м Бартини, сын барона Лодовико ди Бартини — государственного секретаря Итальянского королевства, — вступил в коммунистическую партию. Попал в тюрьму. Бежал из тюрьмы и приехал в Советский Союз, чтобы бороться с фашизмом. Над ним грустно подшучивали:

— Ты здорово выгадал, Роберт: убежал из одной тюрьмы и прибежал в другую...

— Конечно, выгадал! — кричал он с истинно итальянским темпераментом. — Муссолини дал мне двадцать лет, а Сталин только десять!

¹ Незначительная неисправность, по мнению некоторых специалистов, не представлявшая серьезной опасности, встревожила Леваневского, и он повернул назад.

В Болшево сидел выдающийся механик Некрасов, один из лучших наших корабелов латыш Гоинкис, конструктор подводных лодок Кассациер, ведущий специалист по авиационному вооружению Надашкевич, изобретатель ныряющего катера Бреджинский, главный конструктор самолетов БОК-15, предназначенных для рекордного перелета вокруг земного шара, Чижевский, крупнейший технолог автопрома Иванов, главный конструктор Харьковского авиационного КБ Неман, первым в нашей стране построивший самолет с убирающимися шасси, и многие другие светлые умы. Все это напоминало бы Александрию времен Птолемея, где, по словам дерзкого странствующего философа, «откармливают легионы книжных червей ручных, что ведут бесконечные споры в птичнике муз», но в Александрии у Птолемея не было зоны, вертухаев на вышках по углам и глухого забора вокруг бараков. Впрочем, и самих бараков в Александрии тоже не было. Но «бесконечные споры в птичнике муз» были! Вырвавшиеся из камер, рудников, с лесоповалов, голодные, избитые, больные люди попали пусть в тюрьму, но тюрьму, где досыта кормили, где спали на простынях, где не было воров, отнимающих валенки, конвоиров, тычущих в спину прикладом, а главное — не было тачек, коробов, бутар, лопат, пил, топоров, не было этого смертельного изнурения, когда их заставляли делать то, что они никогда не делали, не умели и не в состоянии были делать.

Ошеломление, которое испытывали вновь прибывшие в Болшево, быстро сменялось бурным взрывом эйфории и энтузиазма. Не меньше, чем от голода физического, пострадали эти люди от голода интеллектуального. Многие были знакомы еще на воле, большинство слышало друг о друге, но если даже не слышало, — понимало, что все здесь собравшиеся — люди одного круга, что тут возможен долгожданный разговор по душам, а главное — что тебя поймут, если ты будешь говорить о деле. Не о «Деле», в которое подшивали протоколы после мордобоя, а о Деле, которому они были преданы всегда и мысли о котором не могли истребить ни рудники, ни лесоповалы. Конечно, и в Болшево были «стукачи», не могли не быть, — это привело бы к нарушению системы, — но плевать им было на стукачей! Они не говорили о политике, у них была масса гораздо более интересных тем для обсуждения. И более того: так, как они разговаривали здесь, они не могли говорить на воле. Там, разделенные глухими заборами специализированной секретности, они не имели права на такое общение. Титул «врага народа» освобождал их теперь от всех обязательств и расписок, хранящихся в 1-м отделе. Тайн не существовало! Собираясь группками, они по многу часов что-то обсуждали, рисовали, чертили пальцем в воздухе и понимали, читали эти невидимые чертежи; схватив карандашный огрызок, тут же что-то считали, восклицали, радостно тыча в грудь друг другу клочки бумаги с формулами.

— А если мою пушку поставить на ваш танк, вы представляете?!

— Есть такой масляный насос! Уже года два, как мы его сделали! Точно под ваши расходы...

— Надо зализать вот это ребро вашей рубки, как мы сделали на ГАНТ-8¹, и скорость лодки наверняка возрастет...

— Эта тяга работает на срез, и, уверяю, сварка здесь лучше клепки...

— Да все очень просто! Смотрите, выкидываем нервюру, она вам абсолютно тут не нужна, только вес нагоняет, и нужное место освобождается!..

Это были минуты высокого наслаждения, потому что в эти минуты они не ощущали себя рабами, в них воскрешались люди. Вчерашняя забота о пайке хлеба уступала гордой формуле Рене Декарта: «Я мыслю, следовательно я существую».

Королев еще сидел в Новочеркасской тюрьме, впереди был этап к берегам Тихого океана, и Мальдяк, и обратный путь, когда в феврале 1939 года Андрея Николаевича Туполева привезли в Болшево. В засаленном, грязном макинтоше и кепочке — так его увезли из Наркомтяжпрома осенью 37-го — выглядел он странновато. Прижимал к себе «сидор» с пайкой черного хлеба и не-

¹ Торпедный катер КБ Туполева, очевидно, тогда — лучший в мире. К моменту ареста конструктора уже проходил испытания в Севастополе.

сколькими кусочками сахара. Расставаться с этими сокровищами не хотел, пока его не убедили, что кормят тут сытно и вволю. Из уважения к авиационному патриарху (а патриарху только что исполнилось пятьдесят) ему отвели койку у печки. Туполев уселся на ней в излюбленной своей позе — подвернув под себя ногу в шерстяном носке, огляделся и спросил:

— Так. Замечательно. А работают-то у вас где?

В Болшеве было три барака: спальня и помещения охраны, столовая с кухней и КБ — рабочий барак. Там энергично разворачивался Бартини. Вместе с Сергеем Егером — недавним сотрудником Ильюшина¹ — они задумали какой-то фантастический самолет и уже сделали эскизный проект. Туполев долго разглядывал чертежи, ворчливо спрашивал: «А это еще зачем?» — и черкал коричневым карандашом. В тот же день он заявил Кутепову, что работать начнет при одном условии: он должен убедиться, что жена его на свободе.

Григорий Яковлевич Кутепов, главный начальник Болшевской шараги, делал головокружительную карьеру. Еще с декабря 1929 года в Бутырской тюрьме существовало КБВТ — Конструкторское бюро «Внутренняя тюрьма» — во главе с Поликарповым и Григоровичем, в ту же зиму переведенное в ангары Ходынского аэродрома и названное ЦКБ-39-ОГПУ. Кутепов трудился на этом аэродроме слесарем-электриком, но подлинное свое призвание нашел он в работе с зеками. Новый талант электрика был замечен, и через десять лет Гришка Кутепов — так называли его все авиационники — вознесся до начальника вновь организованной шараги. В конструировании самолетов Кутепов ничего не понимал, но кто такой Туполев — знал и сообразил, что просто отмахнуться от ультиматума Андрея Николаевича нельзя. Он доложил по начальству.

Жена Туполева Юлия Николаевна была арестована через неделю после того, как Андрея Николаевича увезли на Лубянку. Ее допрашивали шесть раз, добиваясь признания в антисоветской деятельности мужа, никаких показаний она не дала, и с конца апреля 1939 года вызывать на допросы ее перестали. Туполеву передали записку, в которой она его успокаивала, но Берия обманул: освободили ее только в ноябре.

Изголодавшийся по работе Туполев обрушил на своих коллег целую россыпь замечательных идей. Он предложил делать новый бомбардировщик — скоростной, пикирующий, небольшой, двухмоторный, с экипажем не более трех человек, — мобильный самолет мобильной войны. Работа закипела и продвигалась очень быстро: специалисты собрались классные. Но однажды после очередной поездки в Москву к начальству Туполев вернулся раздраженный и на следующий день его снова повезли на Лубянку вместе с Егером, Френкелем и всеми чертежами будущего самолета. К ночи они не вернулись. И на следующее утро их не было. По шараге поползли слухи.

Вкусив «сладкой жизни» Болшева, зеки смертельно боялись возвращения на каторгу. Косой взгляд Гришки, небрежно брошенное им слово, просто по неграмотности приобретающее двойной смысл, малейшие изменения режима, снабжения, питания и всего прочего сразу всех настораживали. А тут уехали — и нет! Ужели теперь разгонят и впереди этап?! Оказывается, тройку зеков с чертежами принимал Давыдов — новый начальник всех шарак, сменивший Кравченко. Идея бомбардировщика ему понравилась, и он предупредил, что завтра их примет Берия, которому Туполев должен все подробно объяснить. Для «удобства» обратно в Болшево их не повезли, а развели на ночь по одиночкам внутренней тюрьмы. Сам визит так описал со слов Туполева в своих воспоминаниях один из его ближайших соратников, Леонид Львович Кербер².

«Прием у Берия, в его огромном кабинете, выходявшем окнами на площадь, был помпезным. На столе разостланы чертежи. У конца, который в сторону «ближайшего помощника и лучшего друга» главного вождя, сидит Туполев,

¹ Когда жена Сергея Михайловича Егера после его ареста спросила у Ильюшина, который бывал в их доме, не знает ли он что-нибудь о судьбе Сергея Михайловича, Ильюшин ответил сухо: «Я вообще таких не знаю...» Пишу это не для того, чтобы бросить тень на имя выдающегося советского конструктора, но лишь потому, чтобы дать долгожданное право памяти нашей воздать каждому сообразно не только уму его и таланту, но чести и доброте.

² Журнал «Изобретатель и рационализатор» № 3—7, 1988 год.

рядом с ним офицер, напротив — Давыдов. Поодаль, у стены, между двумя офицерами — Егер и Френкель. Выслушав Туполева, «ближайший» произнес: «Ваши предложения я рассказал товарищу Сталину. Он согласился с моим мнением, что нам сейчас нужен не такой самолет, а высотный, дальний, четырехмоторный пикирующий бомбардировщик, названием его ПБ-4. Мы не собираемся наносить булавоочные уколы, — он неодобрительно указал пальцем на чертеж АНТ-58, — нет, мы будем громить зверя в его берлоге. — Обращаясь к Давыдову: — Примите меры, — кивок в сторону заключенных, — чтобы они через месяц подготовили предложения. Все!»

Трудно даже вообразить себе ярость Туполева — человека страстей необузданных. Кто больше понимает в самолетах, он или Берия?! Кому нужна эта четырехмоторная тихоходная машина при нынешнем потолке зенитной артиллерии?! Постепенно он успокоился, подумал, поговорил со своей «гвардией» и решил, что, взяв за основу АНТ-42¹, сделать эту летающую мишень для зенитчиков можно, но делать ее все-таки не нужно.

— Жорж! — крикнул он Френкелю. — Бери бумагу, будем писать объяснительную!

В записке доказывалось, что конструировать четырехмоторный бомбардировщик нецелесообразно, потому что он уже сделан, и надо просто наладить его производство. А нужен небольшой, массовый, маневренный пикирующий бомбардировщик. Гарантировать те тактико-технические показатели, какие от него, Туполева, требуют для четырехмоторной громадины, он не может, а для АНТ-58 может и гарантирует.

Туполев умер в 1972 году, мне довелось лишь однажды говорить с ним, расспросить обо всей этой эпопее я его не успел. Да и не уверен, что он стал бы рассказывать — к пишущей братии Андрей Николаевич был очень строг, на просьбы часто отвечал резкими отказами. Поэтому вынужден снова прибегнуть к помощи Леонида Львовича Кербера:

«Через месяц Туполева отвезли на Лубянку одного. На этот раз он пропал три дня, и мы изрядно за него поволновались, а вернувшись, рассказал:

— Мой доклад вызвал у Берия раздражение. Когда я закончил, он взглянул на меня откровенно злобно. Видимо, про ПБ-4 он наговорил Сталину достаточно много, а может быть, и убедил его. Меня это удивило, из прошлого я вынес впечатление, что Сталин в авиации если и не разбирается как конструктор, то все же имеет здравый смысл и точку зрения. Берия сказал, что они разберутся. Сутки я волновался в одиночке, затем был вызван вновь. «Так вот, мы с товарищем Сталиным еще раз ознакомились с материалами. Решение таково: сейчас, и срочно, делать двухмоторный. Как только кончите, приступите к ПБ-4, он нам очень нужен». Затем между нами состоялся такой диалог:

Б е р и я: Какая у вас скорость?

Я: Шестьсот.

Б е р и я: Мало, надо семьсот! Какая дальность?

Я: Две тысячи километров.

Б е р и я: Не годится, надо три тысячи! Какая нагрузка?

Я: Три тонны.

О н: Мало, надо четыре. Все! — И обращаясь к Давыдову:

— Поручите военным составить требования к двухмоторному пикировщику. Параметры, заявленные гражданином Туполевым, уточните в духе моих указаний».

Позднее Туполев объяснил своим коллегам, что идея ПБ-4 была не только порочна с технической и военно-тактической точек зрения, но и грозила арестованным конструкторам гибельными последствиями. Самолет, придуманный Берией, военные скорее всего не приняли бы, а их отказ был бы равносильным новому обвинению во вредительстве, и кто знает, чем бы окончилась эта история для авторов отвергнутого проекта. Но теперь все страхи были позади, и работа возобновилась с прежним рвением. Один из ее эпизодов завершал недолгую, но славную историю болшевской шарашки.

¹ Другие обозначения этого самолета ТБ-6 и Пе-8. Создан в 1934—1936 годах.

Туполев решил построить макет будущего бомбардировщика в натуральную величину прямо в зоне, под открытым небом. Сергей Егер чертил шпангоуты на фанере, Саша Алимов, бортмеханик с 39-го авиазавода, выпиливал и сбивал всю конструкцию. Туполев и сам с удовольствием приходил помогать. Скоро макет был готов. Но тут прибежал Кутепов и потребовал немедленно макет разобрать. Остряки пустили слух, что Гришка боится, как бы зеки не совершили побег с помощью макета, но скоро выяснилось, что военные летчики увидели сверху лежащий в лесу самолет, решили, что он сел на вынужденную и товарищей надо спасать! Как был погашен благородный порыв летчиков, неизвестно, макет накрыли огромным брезентом, а всей болшевской шараге скоро пришел конец. К этому времени московские металлурги выполнили ответственной задачей Лаврентия Павловича — изготовили огромное количество железных решеток, которыми изнутри, чтобы не портить импозантного фасада, одели все окна здания ЦАГИ на углу улицы Радио и Салтыковской набережной¹ речки Яузы. В этом здании размещался КОСОС — руководимый Туполевым Конструкторский отдел сектора Опытного строительства ЦАГИ, а также завод № 156, воплощавший в металле задуманное там. Отныне зарешеченное учреждение именовалось Центральным конструкторским бюро № 29 НКВД. Болшево — отстойник, разноязычный Вавилон, ЦКБ-29 — это уже большая, настоящая, в данном случае авиационная шарага.

Появление Туполева в ЦАГИ произвело впечатление разорвавшейся бомбы: ходили упорные слухи, что Андрей Николаевич расстрелян. Он вернулся на родное пепелище, но именно на пепелище: конструкторское бюро было просто разгромлено НКВД.

Еще в Болшеве Туполев заявил, что конструирование самолетов — дело коллективное и, для того чтобы выполнить то, что от него требуют, ему нужны специалисты.

— Какого черта вы упрекаете меня в медлительности, — раздраженно, в своей обычной небрежно-грубоватой манере говорил он Давыдову. — А с кем я работаю? В КБ приходят люди разных специальностей, чаще не способные отличить крыло от хвостового оперения. А инженеров-авиационников разбросали по всей стране... Вам какие самолеты нужны: из говна или из металла?

Слух о шарашке гулял по ГУЛАГу, зеки сюда стремились, и к туполевскому порогу подчас действительно прибывало людей случайных, никакого отношения к авиации не имеющих. Так в ЦКБ-29 оказались бывший начальник Ленинградской Электротехнической академии Константин Полищук, математик и физик Юрий Румер, звукооператор Виктор Сахаров, дипломник Станкостроительного института Игорь Бабин, изобретатель и разведчик, человек фантастической биографии Лев Термен. Это были люди талантливые, как говорится, все хватающие на лету, но сразу заменить специалистов они не могли.

Кутепов подумал, посоветовался на Лубянке и предложил Туполеву составить списки нужных людей. Списки составлять было опасно: в них могли оказаться вольные, и Туполев боялся упрятать их за решетку. Постепенно, опросив товарищей, встречавших в тюрьмах своих коллег, Туполев списки все-таки составил, и в Болшево, а потом и на яузскую набережную стали стекаться авиарестанты.

Списков Туполева я не видел, но, думаю, они сохранились: такие документы не выбрасывают, они лежат в каком-нибудь архиве, ждут своего часа. Не знаю, был ли в этих списках Сергей Павлович Королев. Весьма вероятно, что был. Ведь планеризм давно ввел его в мир авиации. Газеты и журналы писали о нем как о молодом талантливом авиаконструкторе. Да и увлечение ракетной техникой корнями шло из авиации. Пленники Болшева могли встретиться с Сергеем Павловичем в Бутырке в 38-м году, и в 40-м, и в пересылках. Если колымская легенда об Усачеве верна, то и он, возможно, рассказал Андрею Николаевичу о Королеве, поскольку точно известно, что Михаил Александрович Уса-

¹ Ныне набережная академика Туполева.

чев работал в шараге у Туполева. Да и сам Туполев мог вспомнить о своем дипломнике, ведь и десяти лет не прошло с того времени, как он консультировал дипломный проект Королева — авиетку СК-4. Впрочем, это все неважно. Был ли Королев в списке Туполева или не был, но Кобулов постановление подписал, и в сентябре 1940 года Сергей Павлович был доставлен в ЦКБ-29-НКВД.

Такое пережить надо. В спальнях кровати с наволочками и простынками. И в спальню не входят вертухаи, спальня — заповедник зеков. И в спальне ночью тушат свет: уже два года, если не считать теплушек, не спал он в темноте. И душ! И в столовой скатерти, салфетки, хлеб лежит горкой и тарелки глубокие и мелкие, и ложки, вилки, ножи, и какао, и кто-то сердито выговаривает подавальщице, что какао остыло! Такое пережить надо!

Вновь прибывшие первый день не работали. Надо было, чтобы они немного пришли в себя, уяснили новые правила, поняли, что таскать из столовой и прятать под подушку хлеб не следует. На другой день новичка определяли в одно из конструкторских бюро, составляющих ЦКБ-29: кроме группы Туполева, самой многочисленной и сильной, здесь работали группы Петлякова, Мясичева, а позднее и Томашевича.

Раньше всех в ЦКБ перебрался со своими людьми Владимир Михайлович Петляков. Арестовали его через неделю после Туполева, и в конце мая 1940 года Военная коллегия Верховного суда заочно определила ему десять лет лагерей, пятилетнее поражение в правах и конфискацию всего имущества. Однако после вынесения этого приговора заключенным Петляков числился меньше двух месяцев. Дело было так. Петляков и его группа начали работать над двухмоторным высотным скоростным истребителем-перехватчиком. Очень быстро такой истребитель был создан, и в апреле 1940 года летчик-испытатель Петр Стефановский уже летал на нем, а 1 мая проект 100, «сотка» — так называлась новая машина — уже участвовала в Первомайском параде на Красной площади. Стефановский сделал эффектную горку над Мавзолеем, впопыхах забыв убрать шасси. Если бы створки шасси не выдержали воздушного напора, оторвались и спланировали на Красную площадь, и Стефановского, и Петлякова, думаю, расстреляли бы в тот же день: трудно было бы вообразить более очевидное покушение на вожда. Но створки выдержали!

Однако тут выяснилось, что истребитель, хоть и неплох и сделан в рекордно короткий срок, армии не очень-то и нужен, поскольку функции его может выполнить МиГ-3, первый вариант которого тоже полетел в апреле 1940 года. К августу его испытания были закончены, новый истребитель участвовал в авиационном празднике в Тушине и очень понравился Сталину. Сразу было принято решение о его серийном выпуске. Но и до полета в Тушине всем было ясно, что «сотка» не нужна. Подобно сказочному Ивану, которого царь-самодур вымучивает невыполнимыми поручениями, Петляков получил новое, поистине «сказочное» задание: за полтора месяца переделать истребитель в бомбардировщик. И переделал! И, что самое удивительное, получилась очень неплохая машина — всем известный Пе-2, один из основных наших бомбардировщиков во время войны. Серийное производство его началось уже 23 июня 1940 года, а 25 июля Петлякова освободили вместе с группой его помощников.

Дальше судьба-индейка распорядилась так. В 1941 году Петляков получает за бомбардировщик Сталинскую премию, после начала войны работает в Казани, организует массовый выпуск своих самолетов. В январе 1942 года его вызвали в Москву. Он полетел на одном из Пе-2, который перегоняли на фронт. Под Арзамасом самолет загорелся и упал. Так нелепо погиб действительно в самом расцвете сил этот талантливый авиаконструктор.

Когда Королева привезли на улицу Радио, первый «выпуск» состоялся — Петляков и его товарищи работали в ЦКБ-29 уже вольными, ночевать ездили домой. Вместе с Петляковым был непонятно почему (к Пе-2 он никакого отношения не имел) освобожден и Владимир Михайлович Мясичев — «Вольдемар»,

как звал его Туполев, «Боярин» — такое прозвище было у него в шараге. Мясищев возглавлял второе КБ, которое проектировало дальний высотный бомбардировщик — проект 102. К нему и был определен Королев. Мясищев поручил ему сделать бомбовые люки. Сделал быстро и хорошо: створки уходили вовнутрь, не портили аэродинамику. Но потом работа разладилась. Мясищев был человек не легкий. В отличие от добродушной грубости Туполева «Боярин» иногда резко язвил, мог поранить больно, обидно. Королев — сам не сахар, да и от тюремной жизни он еще не отошел. Они сцепились. Королева перевели в КБ Туполева, в группу фюзеляжа.

Почти все, кто был в то время рядом с Королевым, отмечают его постоянную угрюмость, глубокую подавленность и предельно пессимистический взгляд на будущее. «Хлопнут нас всех, братцы, без некролога» — вот слова, наиболее характерные для Королева 1940 года.

Многим авиационникам срок дали прямо в ЦКБ — приехал человек с Лубянки, вызывал по одному, предъявлял постановление и велел расписаться. Все получали «по стандарту» — десять лет и пять лет поражения в правах. Исключение составляли Туполев, которому дали 15 лет, и вооруженец Борис Сергеевич Вахмистров, получивший, непонятно почему, 5 лет (опять эти поиски логики!). Человек с Лубянки забрал расписки и уехал, жизнь пошла своим чередом, абсолютно ничего не изменилось — что был приговор, что не было его.

Существует шуточное определение, что пессимист — это хорошо информированный оптимист. На фоне своих товарищей по несчастью Королев выглядел (и был!) пессимистом потому, что он гораздо лучше их был осведомлен о лагерном быте. Многие зеки ЦКБ вообще не знали, что такое этап, лагерь. Королев никак не мог прийти в себя после второго приговора, в рай ЦКБ он не верил, был убежден, что сладкая жизнь в любой момент может кончиться, а когда слышал, что, вот, сделают самолет и всех отпустят, — криво улыбаясь, наставлял рововых оптимистов:

— Поймите, никто не застрахован от разных *qui pro quo*¹ Фемиды. Глазато у нее завязаны, возьмет и ошибется, сегодня решаешь дифференциальные уравнения, а завтра Колыма...

Мысль о неотвратимости Колымы преследовала его постоянно.

Вообще в шараге существовало довольно четкое деление на пессимистов и оптимистов. Кроме Королева, к пессимистам относился, например, физик Карл Сциллард. Периоды спокойной работы сменялись у него ни с того ни с сего вспышками мадьярского гнева, он не находил себе места, метался и, наконец, дождавшись отбоя, затихал, уткнувшись лицом в подушку. Он был убежден, что все изменения их существования могут происходить только в худшую сторону.

Воинственно мрачным был и Петр Александрович Вальтер, туполевский аэродинамик, член-корреспондент Академии наук. Сухонький, маленький, в старомодном пенсне, он, задрав кверху бородку, все время спорил с молодежью, которая наградила его за агрессивность прозвищем «тигромедведь», хотя Вальтер категорически не был похож на тигра, а на медведя — тем более. Судьба этого выдающегося ученого трагична. Милость Берии по причинам непонятным постоянно обходила его во время разных локальных амнистий, и Петр Александрович так и умер в тюрьме — в Таганрогской шараге — уже после войны.

Напротив, безусловным оптимистом был, например, Александр Васильевич Надашкевич — едва ли не лучший в стране специалист по авиационному вооружению, бонвиван, жизнелюбия которого не могли поколебать ни КБ «Внутренняя тюрьма» в 1929 году, ни ЦКБ-29 в 1939-м.

— Уверяю вас, ничего с нами не будет, — убеждал он маловеров. — Мы умеем делать хорошие самолеты, а самолеты им нужны, и нас не расстреляют.

Надашкевич ошибался. Очень многих ответственных работников авиапрома расстреляли в 1938 году еще до организации шарашек. Среди них Николай Ми-

¹ Путаница, недоразумение (латинск.).

хайлович Харламов, директор ЦАГИ; Василий Иванович Чекалов, начальник 8-го отдела ЦАГИ; Евгений Михайлович Фурманов, заместитель начальника отдела подготовки кадров ЦАГИ; Кирилл Александрович Иношин, заместитель начальника планово-технического отдела завода № 156; Израиль Эммануилович Марьямов, директор завода № 24; Георгий Никитович Королев, директор завода № 26; Андрей Макарович Метло, начальник 2-го отдела 1-го Главного управления НКОП, и другие ни в чем не повинные люди, которые умели делать хорошие самолеты.

Наверное было бы неправильно объяснять пессимизм Королева только новым приговором. Мне кажется, есть и другие причины, и одна из них — жажда ясности. Биография Сергея Павловича постоянно демонстрирует эту острейшую его потребность. Он любил знать. С той поры, когда в нежинском доме бабушки он спрашивал молоденькую учительницу Лидочку Гринфельд, которая читала ему басни Крылова: «А что значит «вещунына»?», — с тех молодых лет крепло в нем постоянное желание разобраться во всем окружающем, понять ход событий, ясно представлять себе продолжение своей жизни. Он всегда знал, что надо делать, и смело планировал свое будущее. Тюрьма лишила его не только движения в пространстве, но и движения во времени. Неопределенность существования угнетала не меньше, чем условия этого существования. И избавиться от этой неопределенности он не мог, ибо не понимал ее механизма. Королев долго наблюдал тюремные правила шараги. Многие из них, какими бы дикими они ни казались с первого взгляда, можно было объяснить. Ну, скажем, запрещалось иметь часы. Вообще нигде никаких часов не было. Дико? Но все-таки можно понять: нельзя согласовать время побега. Есть приемы, которые позволяют использовать часы как компас (что особенно актуально в Москве!). Тут хоть видимость какой-то работы мысли. Или замена фамилий конструкторов во всей технической документации личными номерами. И это можно понять. Номер вместо фамилии — давнее тюремное правило. Сталин всегда подавлял человеческую личность; иметь свое лицо разрешалось только нескольким десяткам людей — тоненькой пленке из писателей, музыкантов, актеров, летчиков, ученых, ударников, спортсменов, прикрывавшей огромную безликую массу народа. Один человек должен отличаться от другого не больше, чем одна от другой отличаются цифры.

Но существовали вопросы, которые зеки часто задавали себе и ответы на которые не находили. Почему, например, Берия вообще возродил шараги? Надашкевич прав: нужны хорошие самолеты. И другое есть объяснение: Берии требуется доказать эффективность своей системы.

Но зачем тогда простыни и какао? Ведь они конструировали бы самолеты лишь за право их конструировать, за счастье сменить тачку на кульман, за то, что рядом с тобой спит член-корреспондент Академии наук, а не «вор в законе». Конечно, нельзя строить самолеты, если постоянно думаешь о куске хлеба. Но если мыслить в этом направлении и признать зависимость итогов творчества от условий жизни творца, то почему же вообще не освободить?! Хорошо, давайте следовать их логике и считать, что Петляков сделал хороший самолет не потому, что не может сделать плохой, а потому, что хочет получить свободу. Но по такой логике получится, что теперь, находясь на свободе, Петляков вообще перестанет делать самолеты! Как понять этот извращенный ход мыслей? Размышляя с зеками на эти темы, Королев старался выйти из того духовного кризиса, который он переживал даже не с момента своего ареста, а раньше, с тех пор, как расстреляли Тухачевского, как посадили Клейменова и Лангемака. Реставрация души шла медленно, но шла. На берегах Берелеха его сгибали и замораживали, на берегах Яузы он выпрямлялся и оттаивал.

Вновь повторю: для Королева работа была важнее свободы, а условия работы в его положении тут были идеальные. Конструкторские бюро не запирались на ночь, приходи, когда хочешь, и работай. Если надо пройти на опытное производство (завод № 156 — ЗОК — завод опытных конструкций ЦАГИ находился на той же территории), из «паровозного депо» — помещения для конвой-

ных — вызывался сопровождающий «попка» (он же вертухай, он же «тягач», он же «свечка». Туполев дал свое название: «Лутонька с вышки». Почему «Лутонька» — не объяснял). Неподалеку от «паровозного депо» располагался кабинет Кутепова и его заместителей: Ямалутдинова — «руководителя» Петлякова, Устинова — «руководителя» Мясичева и Балашова — «руководителя» Туполева.

Пожалуй, терпимее всего заключенные относились к Минуте Садриевичу Ямалутдинову. Каким-то образом этот умный и хитрый мужик дал всем почувствовать, что он отлично понимает, что они — никакие не враги народа, но он будет делать вид, будто они враги. И еще: он не разбирается в технических вопросах совершенно, но будет делать вид, будто разбирается. Такой молчаливый договор всех устраивал.

«Паровозное депо», кабинеты «руководителей» и другие административные помещения занимали три первых этажа. Выше начиналось собственно конструкторское бюро. Стол Королева стоял в «аквариуме» — большом двухэтажном зале с огромными окнами, выходящими во внутренний двор ЦАГИ. «Аквариум» был набит битком — там работало больше сотни человек, в основном «каркасники», то есть проектировщики фюзеляжа, крыльев, оперения. Вооруженцы, специалисты по электрооборудованию и разной другой самолетной начинке располагались в маленьких комнатах неподалеку от «аквариума» и на других этажах. ЦКБ-29 было могучей организацией — наверное, крупнейшим авиаконструкторским бюро страны, в нем работало не менее восьмисот сотрудников. Зеки составляли лишь небольшую — около сотни, — но важнейшую часть, поскольку это был мозг ЦКБ. Отличить зека от вольных на работе было довольно трудно. Зеки выглядели пообшарпаннее, но и вольные одеты были скромно. Разглядывая «аквариум» долго, внимательный наблюдатель заметил бы только, что зеки как бы молчаливее: к ним не обращались ни с какими разговорами, с работой не связанными.

Выше конструкторского бюро размещалась тюрьма, то есть спальни зеков. Было четыре спальни, каждая примерно человек на тридцать. Заселялись они вначале хаотично, «по мере поступления контингента», потом перераспределялись: пожилые — к пожилым, молодежь — к молодежи. В каждой спальне был назначенный «руководством» староста. Самая большая спальня — «Дубовый зал» — называлась спальней Алимова, — он был старостой. Здесь жили Туполев и его ближайшие сотрудники: Базенков, Егер, Кербер, Рогов, Надашкевич, Вигдорчик, Бонин и другие.

Королев жил в спальне Склянского. Иосиф Маркович Склянский, в прошлом ведущий инженер по электрооборудованию завода № 22, на беду свою был не только членом «русско-фашистской партии», но и родным братом Эфроима Марковича Склянского — правой руки Троцкого. Эфроим Маркович был определен Сталиным на дипломатическую службу и утонул в каком-то глухом озере при загадочных обстоятельствах. В спальне соседями Королева были Дмитрий Марков — арестован у Поликарпова, Туполев сделал его начальником бригады оперения; Тимофей Сапрыкин — в прошлом автогонщик, а после перелома ног — начальник бригады шасси (что, конечно, вызывало шуточки); старый летчик и конструктор Вячеслав Павлович Невдачин, который летал над Одессой раньше, чем десятилетний Сережа там поселился, а с 20-х годов работал с Поликарповым. Не то чтобы Королев соседей своих сторонился, но первым с ними в разговор никогда не вступал. Когда спрашивали, отвечал вежливо, но дружбы не возникало. Королев трудно сходил с людьми, а здесь еще, конечно, тюрьма виновата. Как заметил в XVII веке английский богослов Томас Фуллер, не может быть дружбы там, где нет свободы.

Рядом с кроватью Сергея Павловича, как и у других зеков, стояла «персональная» тумбочка, в которой, к его великому удивлению, ни разу не сделали «шмона». Вообще обхождение с зеками было самое вежливое, называли на «вы», а уж о зуботычинах и подавно забыли. После Бутырки, не говоря уже о Колыме, правила для зеков выглядели пределом тюремного либерализма. Заключенным ЦКБ запрещалось посылать с вольными записки домой и получать через них письма из дома. Вообще какое-либо внеслужбное, к делу не относящееся

общение с ними преследовалось. Вольным за такие дела угрожал арест. Запрещалось иметь в спальне ножи — они были только у старост. Каралось пьянство. Спиртного не давали, а за потребление одеколона из тюремного ларька можно угодить в карцер Бутырок, поскольку своего карцера в ЦКБ не предусмотрели. Но к карцеру прибегали крайне редко — зеки были очень дисциплинированными, — Гришка объяснил популярно: если что не так — сразу в лагерь.

На крыше был «обезьянник» — обнесенная решеткой площадка, действительно похожая на вольеру зоопарка. Там гуляли и разглядывали Москву. Королеву рассказывали, что 1 мая из «обезьянника» была видна летящая над Красной площадью «сотка» и Петляков даже закричал: «Шасси! Он не убрал шасси!..»

В «обезьяннике» вечером хорошо было посидеть, покурить. Папиросы выдавали бесплатно с тех пор, как однажды, после очередного совещания в кабинете Берии, Туполев стал собирать коробки и пачки, лежавшие на столе, и расковырять их по карманам. Берия спросил, в чем дело?

— Мало того, что кормят паршиво, курить моим ребятам нечего!

Берия тут же вызвал какого-то хозяйственника и приказал снабжать ЦКБ папиросами и организовать питание на ресторанном уровне.

Кутепов — делать нечего, с а м приказал! — устроил опрос: кто что курит? Модные папиросы «Герцеговина-флор» (Сталин крошил их в трубку) заказали Туполев (для представительства, Андрей Николаевич не курил) и Алимов (из молодого пижонства). Профессор Некрасов предпочитал «Казбек», остальные — демократический «Беломор».

С ресторанным питанием оказалось сложнее. Гришка был в панике:

— Где же я вам возьму ресторанного повара?!

— Да хотя бы в «Национале», — спокойно парировал Туполев. — Что вам стоит арестовать шеф-повара — и сюда!

Поднималась шарага в семь часов, умывались, брились, стелили постели и шли завтракать: каша, масло, кефир, сладкий чай. Потом работали до обеда. С часа до двух — обед: суп, мясо с гарниром, компот, какао, — и снова работа до семи вечера. В восемь ужин: опять какое-нибудь горячее блюдо, кефир, чай, — и свободное время до одиннадцати часов. Если кто-нибудь хотел поработать ночью, приносили бутерброды, кефир, чайник с кипятком и заварку.

В свободное время каждый занимался, чем хотел. Много читали. Был кружок любителей поэзии. Книги шли из Бутырской тюрьмы, библиотека которой, как и библиотека Лубянки, была одной из лучших в Москве, постоянно пополняясь конфискованными собраниями «врагов народа». На некоторых томиках даже можно было обнаружить надписи прежних владельцев: «Радек», «Рыков», «Из книг Бухарина». Устраивали производственные микросоветы. Просто трепались, сплетничали на тюремные темы, любители обсуждали прекрасную половину ЦКБ. Гуляли в «обезьяннике», в жаркие летние вечера поливали там друг друга из пожарного шланга. Однажды окатили Туполева, он так ругался, что слышно было на набережной. Полищук, Бартини и Соколов в свободное время занимались наукой — ставили опыты по электрофорезу, исследовали, как влияет электрическое поле на обтекание конструкций воздушным потоком. Абрам Самойлович Файнштейн до ареста был нашим торговцем в Италии и сидел не как член «русско-фашистской партии», а как «фашистский шпион». В шарагу он попал, поскольку был, кроме того, еще замечательный химик, специалист по бакелиту и плексигласу. В свободное время он выпивал отличные расчески, и его звали «Главный конструктор расчесок». Николай Николаевич Бочаров делал скрипки. Молодежь — Паша Буткевич, Игорь Бабин, Виктор Сахаров — соорудила из фанеры гитары, балалайки, мандолину и бубен с плотной калькой вместо кожи. Так возник маленький оркестрик, воистину «надежды маленький оркестрик»... Вечерами играли, пели.

Королев, который с юных лет никогда не был заводилой по части развлечений, и здесь держался в стороне. Замечали, что он что-то пишет, считает на линейке. Вряд ли эта работа касалась бомбардировщика. Никаких записей и набросков того времени не сохранилось. Уверен, что эти его потаенные труды име-

ли отношение к ракетной технике, потому что везде, где была хоть какая-нибудь возможность заниматься ракетной техникой, будь то тюрьма, или курорт, Королев ею занимался.

Константин Ефимович Полищук свидетельствует: «Сергей Павлович все время обдумывал какой-то летательный аппарат, но что это был за аппарат, я не знаю. Я слышал, что он ходил с каким-то предложением к Кутепову». Королев ни с кем не делится, не советуется, расчетов своих не показывает. Отношение к ракетной технике в авиационной среде чаще всего было негативное. Один из зеков однажды прямо сказал Королеву:

— Вы со своими лунными проектами пускали деньги на ветер, вот нас и пересажали за ваши фокусы...

Иногда зекам удавалось убедить «руководство» в необходимости творческих командировок в другие конструкторские бюро, на испытательные станции, полигоны и аэродромы. Вырваться хоть на день из клетки хотелось всем, но случилось это не часто. Арон Рогов и Александр Алимов, например, работавшие над двигателем будущего бомбардировщика, ездили на Центральный аэродром в бокс ЦАГИ, «гоняли» двигатель. Надашкевич, Кербер и Френкель навалились на Туполева: надо съездить на заводы. Туполев сумел договориться с Кутеповым.

Королев никуда не ездил, хотя стремился. Особенно завидовал он Вадиму Успенскому, который однажды попал на полигон и в разговоре обмолвился, что видел испытания ракет. Королев тут же утащил его в укромный уголок:

— Очень прошу, расскажите мне подробно обо всем, что вы там видели...

Успенский рассказал, что видел, как стреляла реактивными снарядами специальная установка, смонтированная на автомашине.

— А еще? — спросил Королев.

— Все...

— Ну, это можно было увидеть и три года назад, — Сергей Павлович был явно разочарован.

В шарашке часто устраивали маленькие собрания, на которых в самой непринужденной обстановке зеки делали доклады, делились планами и идеями. Королев бы, наверное, мог сделать доклад по своей тематике, но упорно отказывался: «Рано, не о чем еще говорить. Работать нужно...»

На доклады других зеков он ходил всегда. Особенно запомнился всем замечательно остроумный и очень интересный доклад Роберта Бартини. Водя пальцем по специально сделанным для доклада графикам, Бартини сказал небрежно:

— Как вы видите, согласно графику, будущий самолет Андрея Николаевича будет иметь скорость не более 585 километров в час.

— Как 585? — взревел Туполев. — 640! Дурак! И графики твои дурацкие!

— Сам дурак!

Началось общее веселье.

Однажды Королев вышел из «аквариума» покурить и глазам не поверил: навстречу шел Петр Флеров.

— Это ты? — тихо спросил Сергей.

— Я! — весело ответил Флеров и обнял его. «Попка» в коридоре крикнул: вольные не только не обнимались с зеками, но даже не здоровались.

С Петром Королев познакомился еще во время учебы в МВТУ, вместе занимались в планерной школе, под навесом старой коновязи на Беговой улице мастерили планеры, ездили на слеты в Коктебель. В «домашнем КБ» Королева Петр был едва ли не самым активным его помощником, но, как ни старался тогда Сергей, переманить друга из авиации в ракетную технику не удалось.

Флеров работал в КБ Яковлева, занимался колесами и тормозами. Туполев вызвал его для консультации. Колеса — это была целая проблема. При убирающихся шасси колеса должны быть как можно меньше. Но где предел?

Флеров стал приходить к Королеву в «аквариум», они подолгу беседовали. Однажды их застучал Кутепов, но и рта не успел открыть, как Флеров, кивнув на Королева, ошарашил его вопросом:

— И долго вы его тут держать будете, товарищ начальник?

За соседним столом кто-то прыснул в кулак. Гришка растерялся, забормотал невнятно:

— Сколько положено, столько и будем...

Флеров заезжал к Ксане и к Марии Николаевне, рассказывал о встречах с Сергеем, отдавал записочки, которые выносил под стелькой башмака.

— А одет-то он хоть прилично? — взволнованно спрашивала Мария Николаевна, словно это было самым главным.

— Очень элегантно, модно, — улыбался Петр, — черный комбинезон и... ботсы. — Хотел сказать: «говнодавы» — так называли эти ботинки в ЦКБ, — но постеснялся...

Очень редко зеков из шарашки возили на свидания с родными в Бутырскую тюрьму. Для всех зеков свидания эти были тягчайшим испытанием. Встречались близкие люди, которые не видели друг друга несколько лет. Встречались буквально на минуты, — что можно тут успеть рассказать и как можно рассказать, если рядом сидит вертухай?! Тюремщики могли воспринимать живых людей, как неодушевленные предметы, но живые-то люди не могли так их воспринимать! И дети! Валентин Петрович Глушко впервые увидел свою дочь на тюремном свидании. Когда Елизавета Михайловна, жена Кербера, войдя в комнату для свиданий, сказала сынишке: «Левушка, поцелуй папу», — двухлетний мальчик бросился к вертухаю, обнял его за шею... Это было так страшно, спазм горьких, горячих рыданий душил Леонида Львовича...

Пятилетняя Наташа Королева спросила отца:

— Мама говорила, что ты прилетел из командировки на самолете. Но как же ты сумел сесть, тут такой маленький дворик?

— Сесть-то сюда легко, девочка, — весело сказал молодой тюремщик, — улететь отсюда трудно!

Королев отвернулся, чтобы дочка не видела его глаз.

На свидания в Бутырку их возили в обычном автобусе, безо всяких решеток, только стекла на окнах не разрешалось опускать. Свидание начиналось раньше Бутырок, свидание с Москвой, с домами, с людьми на тротуарах, с витринами, с собаками — за окном был мир, столь же реальный для них, сколь реален экранный мир для кинозрителя. Автобус с улицы Радио выползал на улицу Казакова. Инфизкульт. Театр Транспорта. Афиша: «Без вины виноватые», — это про них. Садовое кольцо, НКПС, люди, ныряющие в портал метро «Красные ворота». Институт Склифософского, Сухаревская площадь, этих башен с эмблемами ВСХВ по углам Первой Мещанской они еще не видели, кинотеатр «Форум», еще афиша: «Светлый путь» — это явно не про них. Третий дом Советов, портал на Калевскую, отсюда до Конюшковской он мог бы дойти пешком за полчаса, а вот и дом родной — Бутырка!

Свидания происходили в домике во дворе Бутырок, в маленьких комнатах, где стояли большие столы, по обе стороны которых и рассаживались. А тюремщик — их называли «гувернерами» — в торце, как председатель.

Когда Королев впервые увидел Ксану, он заплакал. Ничего не мог с собой сделать, слезы сами лились. Все спрашивал:

— Ну, как ты? Как Наташка? А мама?

— Я защитила диссертацию... — сказала Ксана.

— О защите говорить тут запрещается, — перебил «гувернер».

Потом Ксана приезжала с Наташей.

Трудно сказать, чего больше было в этих свиданиях: горечи или радости. Перед арестом жили они неладно, в каком-то напряжении, в недобром предчувствии расставания. И вынужденное расставание сохранило, а может быть, и увеличило привкус прошлых размолвок. Беда не приблизила к нему Ксану, наверное, отодвинула еще дальше. Конечно, можно было себя уговаривать: «Весь этот кошмар когда-нибудь кончится, и все наладится...» — уговорить — трудно...

По воскресеньям не работали. Неожиданно из черных репродукторов — они висели во всех спальнях и за потоки изрекаемой лжи зеки нарекли их «плевательницами» — строгий голос объявил о предстоящем важном сообщении. Вскоре появились вертухаи, молча, не обращая внимания на протесты зеков, снимали все «плевательницы» и унесли. Никто не мог понять, что все это значит. «А вдруг ОН умер?!» — фантастические видения оживали в спальнях. Потом кто-то увидел в окно, как за Яузой ко входу в парк МВО бегут люди. Там на столбах висели большие, похожие на граммофонные трубы репродукторы. Целая толпа людей стояла, задрав головы, слушала. Звуки не долетали до зеков, но по тому, как толпа слушала, все поняли, что передается что-то очень важное. Побежали к руководству с просьбой вернуть репродукторы, но прежде чем их принесли и развесили, нашла дырочку, просочилась все-таки с завода новость короткая и ясная: война!

Все молчали. Но все думали об одном и том же: это смерть. Если «политических» расстреливали в мирные дни, то во время войны живыми их не оставят. Где-то в глубине души теплилась робкая надежда: ведь они создают боевые самолеты, нужные как раз сейчас... (Опять, опять эта надежда на логику! Да при чем здесь логика?! 28 октября 1941 года, когда офицеры фашистского авангарда рассматривали в бинокль Москву, двадцать пять выдающихся военачальников и создателей оружия, ни в чем не повинных людей, были расстреляны под Куйбышевом и Саратовом. Нет такой, пусть даже самой извращенной, логики, которая могла бы это объяснить.)

Что же будет с ними? Они уже привыкли не загадывать свою судьбу. Надо избегать смерти, но нельзя ее бояться. Мысль о собственной безопасности, остро уколывая их в первые минуты, отодвигалась, расплывалась огромной, тяжелой, холодной, как камень, думой: «А что же теперь будет со всеми нами?..»

9

Героического энтузиаста поддерживает надежда на будущую и недостоверную милость, а подвергается он действию настоящего и определенно-го мучения. И как бы ясно он ни видел своего безумства, это, однако, не побуждает его исправиться или хотя бы разочароваться в нем...

Джордано Бруно.

Как бы ни были зеки измучены и унижены, как бы ни душила их обида за несправедливые кары, каким бы жаром ненависти к своим палачам ни переполнялись их сердца, они знали, что есть нечто более важное, вне Сталина существующее, — Родина, которую надо защищать. Обитатели шараги на Яузе, политические заключенные, осужденные по 58-й статье, страшнее которой в Уголовном кодексе не было, люди, которым лубянские истязатели с таким усердием доказывали, что они являются убежденными и яростными противниками существующего режима, категорически не могли представить себе Гитлера как своего союзника или спасителя, — только как врага. Когда в 1939 году больному Туполеву принесли газету с фотографией Сталина, Молотова и Риббентропа, он скомкал ее и закричал: «Какая дружба?! Что они там, с ума сошли?!»

Когда в бесконечных спорах представляли они себе полет своего нового бомбардировщика, — он летел над фашистскими позициями, когда чертили секторы обстрела, то в секторах этих они видели «мессершмитты», а в бомбовых прицепах — танки со свастикой.

Самолет 103, он же АНТ-58, он же Ту-2, летчик-испытатель Михаил Александрович Нюхтиков первый раз поднял в воздухе 29 января 1941 года. Очень скоро стало ясно, что 103 превосходит Пе-2 и по вооружению, и по бомбовой на-

грузке, а главное — по скорости: опытный образец дал 640 километров в час, за этим бомбардировщиком с трудом могли угнаться истребители. Несмотря на явные достоинства машины, потребовалась ее доработка: оказалось, что высотные моторы, под которые она проектировалась, уже не выпускаются. Замена двигателей повлекла новые переделки. Люди, ожидающие главной награды за свою работу — свободы, нервничали. Рождение Ту-2 было процессом трудным, болезненным, но в конце концов всем стало ясно, что дальше переделывать нельзя, надо налаживать выпуск нового бомбардировщика, нужного фронту.

Завод № 156 на набережной Яузы был заводом опытных конструкций. Сделать тут могли все что угодно, но для серийного выпуска самолетов он был совершенно не приспособлен, расти ему было некуда, да и специалисты нужны были для такого дела совсем другие.

Давным-давно, осенью 1929 года, когда ТБ-1 под гордым именем «Страна Советов» прилетел в Америку, Туполев познакомился там с двумя головастыми инженерами — Александром Сергеевичем Ивановым и Тимофеем Марковичем Геллером, которые учились у Форда автомобильным премудростям. Вернувшись, они строили автогигант в Нижнем Новгороде, получили ордена, Иванов стал главным инженером ГАЗа, а Геллер — начальником цеха: на «Дженерал моторс» он прошел выучку от рабочего до дублера начальника цеха. Потом их посадили. Иванова, впрочем, очень долго не сажали. Арестовали всех руководителей завода, а он все разгуливал на свободе, мучился постоянным ожиданием неотвратимого унижения и даже подумывал, не пойти ли ему самому в НКВД и во всем «сознаться», потому что он совсем перестал спать. Но в конце концов и его посадили. Туполев, узнав об этом, сразу внес их в свои списки, — это были едва ли не лучшие в стране специалисты по серийному поточному производству. Поскольку 156-й завод мог изготовить два, три, ну пять бомбардировщиков, не больше, было принято решение срочно создать новый авиазавод в Омске: перед войной там начали строить небольшое предприятие, на котором планировали собирать сибирские ЗИС-5 из московских деталей и автоприцепы.

ЦКБ-29-НКВД свое существование закончило: 13 июля 1941 года с товарной станции Казанского вокзала ушли три теплушки зеков. Приготовили место и для Андрея Николаевича, но его не было. Волновались, никто не мог объяснить, где Туполев. А Туполев вместе с семьей ехал в другом поезде, в купейном вагоне. Через неделю вышел приказ: Андрей Николаевич Туполев 19 июля 1941 года был «по ходатайству НКВД СССР на основании постановления Президиума Верховного Совета Союза ССР от наказания досрочно освобожден со снятием судимости». Вместе с ним освободят Егера, Френкеля, Черемухина, Бонина, Надашкевича, Петрова, Озерова — всего около 20 человек, но тогда они еще числились зеками и занимали положенные им места на нарах в теплушках.

Королев останется зеком: в Омске он узнает, что его фамилии нет в списке освобожденных. Очень многих фамилий не было в этом списке, гораздо более коротком, чем списки Туполева, когда он вытаскивал специалистов из лагерей и тюрем. Слухи о помиловании бродили по ЦКБ с весны. Ждал ли Королев освобождения? А кто же за решеткой не ждет свободы? Конечно, ждал. Но разочарование не было теперь столь острым, как год назад.

Три грязно-бурых товарных вагона с двумя окошечками с обеих сторон, забранными колючкой, то цепляли к какому-то составу, то отцепляли, катились они на восток неспешно «согласно законов военного времени» — этими словами объяснялось тогда все. На остановках у запертых дверей теплушек выставляли часовых. На платформах было много беженцев. Когда они замечали за колючкой человеческие лица, кричали конвоирам: «Убить сволочей! Что вы их кормите, мерзавцев!» — думали, везут пленных немцев.

Трудно было в июле 41-го набрать три вагона немецких пленных...

Однако более всего волновались они не из-за проклятий беженцев и не из-за отсутствия горячей пищи, а из-за того, что не знали, куда их везут и кто

они такие: заключенные, которых этапируют в лагеря, или прежние инженеры шарашки, которые будут продолжать работу на новом месте. Это был вопрос важнейший, Королев лучше других понимал, что от ответа на него, возможно, зависит жизнь. Он выглядывал в оконца, по названиям станций пробовал определить маршрут. «Мамлютка». Где это — Мамлютка? Никто не знал. Пронесся слухок, что вроде бы едем в Омск, но ветераны тут же его отменили: в Омске сроду не было авиазавода. Значит, все-таки лагеря? Но на одном из переездов увидели своих вольных, платформы с зачехленными бескрылыми самолетами и вздохнули наконец облегченно: значит, не этап, значит, эвакуация.

Все как-то сразу повеселели, загомонили, кто-то даже запел. Королев оживленно беседовал с соседями по нарам — Георгием Корневым и Львом Терменом. Они договаривались втроем делать радиоуправляемую пороховую ракету — бить фашистские танки...

Через восемь дней прибыли в Омск. Поначалу зеков свезли в местную очень грязную и вонючую тюрьму с невероятно свирепыми надзирателями, а через несколько дней разместили в здании школы, переоборудовать которую не успели: ни зоны, ни забора, ни даже решеток на окнах. Такая была толчея и неразбериха, что не то что убежать, можно было просто спокойно уйти.

В Омске 41-го года снова воссоединились почти все зеки болшевского отстойника 39-го. Маленькая подмосковная шарашка выросла, разветвилась, а кое-где покрылась неожиданно распутившимися бутонами свободных спецов. За Иртышом, в Куломзино, на базе авиаремонтных мастерских ГВФ был организован авиазавод № 266, где под недремлющим оком все того же Гришки Кутепова обосновались конструкторские бригады Мясищева, Бартини и Томашевича. Мясищев доводил свою машину — зачатый еще в ЦКБ дальний бомбардировщик. Он никак не склеивался и в серию в конце концов не пошел. Неудачными оказались многочисленные и, как всегда, неожиданные поиски Бартини. Томашевич делал истребитель и параллельно легкий фанерный фронтовой бомбардировщик с двумя маломощными двигателями М-11 по сто лошадиных сил. Эти самолеты в Москве тоже забраковали.

Что касается туполевцев, то в Омске они обнаружили, что «завод № 166» никакой не завод, а несколько маленьких, вовсе не авиационных корпусов, даже под крышу не подведенных. Правда, вокруг была большая зона и несколько сотен зеков — главным образом несчастных рабочих, опоздавших на двадцать минут к табельной доске, и несчастных крестьян, принесших горсть колосков с колхозного поля, — с утра до ночи работали на оборонной стройке.

Оборудования, которое привезли из Москвы, конечно, было недостаточно для массового производства самолетов. Поэтому сюда же, на несуществующий еще завод, были эвакуированы ремонтные авиазаводы из Смоленска и Севастополя и завод из Ленинграда, который специализировался на производстве деревянных самолетов, в том числе знаменитых «кукурузников» У-2. У каждого завода был свой директор, который, естественно, как и подобает директору, хотел командовать. Вот в эту стихию и ринулся Туполев.

От многих замечательных авиаконструкторов Андрея Николаевича всегда отличала забота о дальнейшей судьбе созданного им самолета. Он считал дело сделанным не тогда, когда самолет выдерживал летные испытания, а когда шел в серию. Поэтому Туполев лучше других авиаконструкторов знал производство. И сейчас вся его неизбывная энергия была отдана решению единственной задачи: наладить серийный выпуск Ту-2. Все — и вольные, и заключенные — работали по 16—18 часов в сутки, и работа эта вопреки всем строжайшим инструкциям режима размывала различия между ними, рушила остатки стен отчужденности, которые все-таки существовали на Яузе, но уже не могли сохраниться на Иртыше. Еще неотступно ходили с зеками «попки», но ни в какие разговоры они уже не вмешивались, одергивать не смели. Вообще вся эта охрана быстро выродилась в какой-то грустный фарс. Из тюрьмы молодые зеки ухитрялись бегать по ночам ■ влюбленным, а те человек двадцать, которые работали в конструкторском бюро — оно разместилось в центре города в здании паро-

ходства, — ездил из тюрьмы на работу в обычном трамвае в сопровождении одного-двух конвоиров, которые моментально теряли своих подопечных из виду в утренней трамвайной толчее.

Позднее, когда освоились, обжились, подобных курьезов стало еще больше. Константин Ефимович Полицук задержался на заводе — все охранники ушли и забыли о нем. Он долго слонялся и наконец решил идти домой сам. Через проходную его пропустили, а в тюрьму без сопровождающего пускать не хотели, долго пришлось уговаривать. Тем временем на Королева и Купленского — соседа Полищука, уже составляли бумагу, как на «соучастников побега».

Георгий Васильевич Коренев с товарищем получил задание «отстрелять» кабину Ту-2 трофейными немецкими пулеметами. Им выдали четыре пулемета, две тысячи патронов, выделили автомобиль, и они поехали на край аэродрома... с одним конвоиром, вооруженным древней винтовкой.

— Слушай, парень, — крикнул Коренев, установив пулеметы, — ты часом не знаешь, кто кого охраняет?

Огромное количество сильных молодых людей (около сотни туполевских зеков охраняли не менее полтора сотен солдат, не считая охраны всей зоны), так нужных фронту, не просто отсиживалось в тылу, но в это невероятно тяжелое время не принимало решительно никакого участия ни в каком производстве — ни в промышленном, ни в сельскохозяйственном.

Вслед за зеками прибыли из Москвы и «руководители»: Кутепов, Балашов, Ямалутдинов; они, как и прежде, изображали предельную озабоченность, совались без толку в дела, в которых ничего не понимали. Осаживать их боялись. Даже Туполев предпочитал не связываться с ними. Даже Анатолий Ляпидевский, участник знаменитой челюскинской эпопеи, назначенный директором нового завода, вынужден был считаться с их «указаниями». Он не был большим специалистом-производственным, но отличался неумейной пробивной энергией и смелостью в спорах, подкрепленной Золотой Звездой Героя Советского Союза № 1. Делу Ляпидевский безусловно помог, но когда начался выпуск самолетов, стало ясно, что не всякий храбрый летчик может быть директором авиационного завода, и Ляпидевского сменил Леонид Петрович Соколов, настоящий, крепкий производственник.

А пока Туполев решил, что самый спокойный для НКВД и не губящий дело вариант — сделать начальниками цехов вольных, даже если они не тянут на эту должность, а их заместителями поставить энергичных и работающих зеков.

Королев стал заместителем начальника фюзеляжного цеха по подготовке производства. Непосредственным начальником его был Лев Александрович Италинский — он работал у Туполева на заводе опытных конструкций начальником сборочного цеха. Почему его не посадили, непонятно. Он признался Королеву, что ничего не понимает в серийном производстве: всю жизнь занимался созданием единичных экземпляров опытных машин.

— Я тоже ничего не понимаю, — сказал Королев. — Но надо понимать. Будем учиться.

Учителем Королева стал Тимофей Маркович Геллер, тот самый бывший начальник цеха ГАЗа, который по просьбе Орджоникидзе внедрял в авиапроме штамповку, а после ареста оказался в шарашке Туполева. Сергей Павлович общался с Геллером массу вопросов, начиная с малосерийных свинцово-цинковых штампов, кончая системой Тейлора, благо они с Геллером не только работали вместе, но и жили в одной камере. Впрочем, камерой место их обитания можно было назвать достаточно условно. Если бы не решетки на окнах, забор, окружающий «зону» — двухэтажный каменный дом, двор с дощатым сортиром и умывальником, — то все это вполне могло бы сойти за рабочее общежитие.

Да так оно, очевидно, и намечалось до приезда зеков. Рядом с заводом-новостройкой существовал рабочий поселок имени 10-летия Октября — горсть небольших кирпичных двухэтажных домиков. Два из них и были экспропрированы НКВД. На первом этаже размещались охрана и столовая, на втором жили зеки. В зависимости от размеров комнаты жили втроем, вчетвером, впятером, но

не больше. Отдельные апартаменты — восьмиметровую комнатку — занимал только Александр Иванович Некрасов.

Некрасов был выдающимся механиком, членом-корреспондентом Академии наук, заместителем начальника ЦАГИ. В 1937 году обрушились на него несчастья: находясь в США, попал он в жестокую автомобильную аварию, сильно покалечился, вскоре после возвращения на Родину был арестован как американский шпион. На следствии его заставили подписать все, что требуется, но потом он от показаний своих отказался «как от вымышленных в результате извращенных методов следствия». Это, впрочем, не помешало приговорить его к «стандартным» для туполевской шараги десяти годам. Среди многочисленных «вредительств», которые приписывались Александру Ивановичу, было одно, ставшее неиссякаемым источником всевозможных шуточных обсуждений и комментариев его молодых коллег по шарашке. Ему инкриминировалась продажа части Поволжья какому-то американскому миллиардеру. Меня всегда восхищала блестящая фантазия Габриеля Гарсиа Маркеса, у которого в романе «Осень патриарха» диктатор продает американцам море, но, как выяснилось, Маркес вторичен. Зеки все время приставали к Некрасову с просьбой уточнить границы проданной территории, выдвигали многочисленные предложения об организации на ней суверенного независимого государства и составляли проекты его конституции. Одинокого, не излечившегося от шока, страдающего провалами памяти Александра Ивановича зеки трогательно опекали, по-сыновьи о нем заботились — Некрасову было 58 лет, но все считали его стариком, наверное, потому, что он был старше Туполева, а все, кто был старше Туполева, причислялись к старикам. Некрасов на завод не ходил, а писал в своей комнатке большой труд по теории волн, коротая время с Капитолиной — беспородной кошкой, которую он нежно любил. Вечерами он выходил во двор и прогуливал Капитолину. Весной она сбежала, а потом принесла ему четырех котят, которых он наотрез отказался топить, выхаживал их в коробке с ватой, а когда они подросли, разрешил подарить заводским вольным, но при условии, что котята попадут «только в хорошие семьи». Когда во время второй волны «помилования» в 1943 году Некрасова освободили, он стал просить оставить его в тюрьме, объясняя это тем, что он человек одинокий, как ему теперь питаться, совершенно не представляет, «и к тому же у меня ведь Пачочка», — сказал он генералу НКВД. Генерал был шокирован. Узнав, что речь идет о кошке, разрешил амнистировать и кошку. Некрасова с Капитолиной забрал к себе Туполев, и некоторое время он жил в семье Андрея Николаевича¹.

Рядом с некрасовской «одиночкой» была большая комната, в которой размещались Королев, Иванов и Геллер, математик Крутков и инженер Шекунов². О нижегородцах — Иванове и Геллере — я рассказывал, но и два других соседа Королева были людьми замечательными.

Юрий Александрович Крутков, старший в этой компании — ему шел 52-й год, — еще до революции окончил Петербургский университет, с которым он никогда бы не расстался, если бы его не переквалифицировали из профессоров математики в уборщики барака уголовников в одном из Канских лагерей. Крутков был блестящим механиком. Туполев, зная его работы по гироскопам и теории упругости, вытасил его в шарашку и поместил в расчетный отдел. Юрий Александрович был зачислен Андреем Николаевичем в своеобразный «интеллектуальный резерв главного командования» — он призывался тогда, когда разобратся уже никто не мог, как ребе в синагоге, примирял спорщиков и изрекал истину. Крутков был человек ироничный, даже едкий, Кербер называл его «наш

¹ Сразу после войны А. И. Некрасов был избран действительным членом Академии наук СССР, получил звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР и был удостоен Сталинской премии за научную монографию по теории волн. Он умер в 1957 году.

² Документов, в которых было бы указано, с кем в одной комнате жил Королев, я никогда не видел и сомневаюсь, что они существуют. Память людская, как известно, несовершенна. Разные участники описываемых событий называли мне разных соседей Королева в Омске. Я принял за основу рассказ Т. М. Геллера, по общему мнению, — одного из самых близких тогда Королеву людей. Кроме названных им соседей Королева, в рассказах других очевидцев встречаются фамилии конструктора Милославского, технолога Багрия и др.

Вольтер». Эрудит, энциклопедист, Юрий Александрович свободно говорил по-немецки, был блестящим рассказчиком и помнил бесконечное количество веселых и нравоучительных историй, приключившихся с известными учеными: Карпинским, Ольденбургом, Крыловым, Иоффе, которых хорошо знал.

Ирония Круткова уравнивалась в этой комнате постоянным ровным оптимизмом и добродушием Евграфа Порфирьевича Шекунова, бывшего главного инженера большого московского авиазавода. Призванный в армию накануне первой мировой войны, он служил механиком на аэродроме и на всю жизнь влюбился в самолеты. По военной стезе он не пошел, будучи человеком сугубо штатским, и в армии даже в офицерских погонах вид имел жалко-неуклюжий. Однажды на аэродром приехал Врангель, Шекунов бросился рапортовать, но один сапог застрял в глине, и козырял он генералу «частично обутым».

— А это что за идиот? — рассеянно спросил Врангель, навеки пресекая ратную карьеру Евграфа Порфирьевича.

Веселый нрав чуть не сыграл с Шекуновым в шарашке злую шутку. Чтобы отвязаться от техника, который приставал к нему с вопросами о номере какого-то узла на чертеже, Шекунов небрежно бросил:

— Я не помню номера. Пиши: «Гордиев узел».

Тот написал. «Гордиев узел» долго гулял по ЦКБ, попал в копии, был обнаружен «руководством», которое очень всполошилось, посчитав это актом саботажа, продиктованным вредительским намерением запутать техническую документацию и сорвать тем самым сроки проектирования боевой машины. Серьезность положения усугублялась тем, что «руководству» требовалось объяснять, что такое «гордиев узел». Короче, Шекунов еле отвертелся.

Как у всех веселых людей, редкие вспышки гнева его были сильны и опасны. Некоторые из местных вольных в разговорах между собой называли московских зеков «самураями». Однажды в цехе один инженер позволил себе обратиться так к Шекунову. Евграф Порфирьевич побелел и так рывкнул: «Вон отсюда!» — что окна зазвенели.

Вот в такой любопытной компании оказался в Омске Сергей Павлович. Но общаться им приходилось мало — практически они не жили вместе, а только спали в одной комнате, а жили — на заводе.

После завтрака (кормили день ото дня все хуже) к восьми часам в сопровождении конвоиров уходили на завод. У Королева на заводе был персональный «попка». Он очень раздражал Сергея Павловича, поскольку преследовал его как тень. Работы было много, и постоянно видеть перед собой праздного, да еще делающего тебе замечания человека было действительно тяжело.

Сталин приказал выпустить первый бомбардировщик в декабре, в дальнейшем выпускать одну машину в день. Даже если бы туполевцев эвакуировали на хороший, большой авиазавод с отлаженным производством, это была бы задача невыполнимая — ведь технологически новый бомбардировщик был совсем сырым, никакой оснастки не существовало. А здесь вообще не было завода — ни большого, ни маленького, никакого. Собрать несколько машин из частей, изготовленных в Москве, — это еще не производство. Ни круглосуточная работа, ни угрозы «руководителей», ни их же обещания свободы — ничего изменить не могли.

Несмотря на предельную загруженность, когда никакого свободного времени физически не существовало, Королев не забыл разговора в теплушке о радиоуправляемой ракете. Он ходил с этим предложением к Кутепову, Балашову, писал им докладные записки и в конце концов добился, чтобы ему выделили комнату и двенадцать вольнонаемных, в основном девчонок-чертежниц. Ракету они начали делать втроем, но, увы, работа продолжалась недолго: Коренева перевели в Куломзино, а Термена отозвали в радиопарашку в Свердловск. Так их союз распался. Королев еще больше помрачнел.

И было от чего. В списки освобожденных он не попал. И будет ли другая обещанная амнистия, никто не знает. Самолет Петлякова делали десятки зенов, а освободили — единицы. Точно так же и с туполевцами. Когда будет второй «выпуск»? Три года он отсидел. Впереди еще пять...

Технолог Эсфирь Михайловна Рачевская, с которой работал Королев, не выдержала однажды и спросила:

— Ну почему вы такой мрачный? Не горюйте, вас отпустят...

— Чудес на свете не бывает, — сухо ответил Сергей Павлович.

Впереди еще пять лет, и никто не знает, что это будут за годы. Вот наладят выпуск бомбардировщиков и пошлют на золото. Идут слухи об американской помощи. Он даже видел банку свиной за океанской тушенки с этикеткой, напечатанной прямо на металле, в которой сразу резал глаз «У» вместо русского «У». Геллер говорил:

— Я знаю американцев, они никакого бесприбыльного дела никогда не начнут. В этом их сила и их слабость. А за тушенку, я уверен, мы будем платить золотом...

Потребуется золото для американцев, и пошлют на золото.

Теперь они беспрепятственно слушали радио и читали газеты. Сводки становились тревожнее день ото дня. Немцы под Москвой. Александр Сергеевич Иванов, сидя вечером на кровати, размышлял вслух:

— История политических репрессий показывает нам, что в периоды кризисных ситуаций политические противники подлежат ликвидации. Если немцы возьмут Москву, нас расстреляют не потому, плохи мы или хороши, а потому, что существуют законы фронды...

— Никогда немцы не возьмут Москву! — перебивал Шекунов.

— При чем здесь законы фронды? — иронично возражал Крутков. — Никакие эти французские законы для нас не писаны. У нас свои законы. При императрице Анне был у нее кабинет-министр Артемий Петрович Волынский — подонок, палач и вор, в 1740 году предан пытке и казнен. Вот он точно говорил: «Нам, русским, хлеб не надобен. Мы друг друга едим и с того сыты бываем...»

— Да не едим мы друг друга! — не выдержал Королев. — Нас едят!

В архиве Академии наук СССР в фонде Королева хранятся несколько записей, сделанных Сергеем Павловичем в Омске. Это стихи. Стихи разных поэтов, переписанные в маленький блокнот или на листки из ученической тетради. В этих стихах то, чего нет и быть не может ни в каких документах, о чем не может рассказать ни один свидетель тех дней. И комментарии тут излишни.

Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои.
Пускай в душевной глубине
И всходят и зайдут оне,
Как звезды ясные в ночи.
Любуйся ими и молчи...

Простым карандашом в дешевом блокноте:

Закатилось мое солнце ясное
Уехал мил сердечный друг
За синь море...

Омск, 25.12.41 г.

На листке в клеточку аккуратно переписана главка «Я мертв» из книги американского легчика Джимми Коллинза «Один в бескрайнем небе»:

«Скосит нас беспощадная смерть. Все уйдем туда, откуда нет возврата. Но огонь еще тлеет, и друзья сидят вокруг чаши. Прославим богов, щедро наполняющих вином кубки, сердце весельем и душу сладкой пищей».

На том же листке:

«Жить просто — нельзя! Жить надо с увлечением...
Венец, свинец и достойный конец».

И еще одно стихотворение:

Когда в глаза твои взгляну,
Вся скорбь исчезнет, словно сон.
Когда к устам твоим прильну,
Мгновенно буду исцелен.

На отдельном листке переписано стихотворение в прозе «Как хороши, как свежи были розы...»

Очевидцы рассказывают, что в комнате Королева жили Иванов, Геллер, Крутков и Шекунов. А оказывается, там жили еще и Тургенев, и Тютчев, и Гейне, и Олдингтон...

День ото дня становилось холоднее и голоднее. Первая военная зима в Омске была яркая, солнечная, синее чистое небо, громко скрипит под ногами снег на деревянных тротуарах, румянит крепкий мороз — замечательная зима, если при этом тебя согревает пища. А пища не согревала. Зеки получали восемьсот граммов хлеба, двадцать граммов масла, крохотную пайку сахара. Совсем плохо было с куревом. После табачного разгула ЦКБ это особенно чувствовалось. Вольные иногда отсыпали им немного махорки, которую выменивали у наезжавших на рынок казахов на бархат и блестящий шелк. Никто из вольных никакими врагами зеков не считал. Кстати, по нескольким деталям, случайно оброненным фразам Королев понял, что Кутепов, Балашов, Крапивин, который командовал зеками-строителями, тоже не считали их «врагами». Точнее сказать, — именно «считали», поскольку так полагалось считать, но при этом знали, что они никакие не враги. Пожалуй, только самые тупые, зачуханные вертухаи думали иначе.

В отличие от ЦКБ, правила которого всячески препятствовали общению зеков с вольными, здесь этого не было. Да и быть не могло, потому что трудились они рядом, в буквальном смысле плечо к плечу, и, не будь подле зеков конвоиров, отличить их от вольных было бы невозможно. Как-то один парень сказал Королеву: «Ты так вквалываешь, я думал, ты вольняшка...»

Перед Новым годом вольные притащили для зеков несколько бутылок домашнего вина, ватрушек, пирожков — они не то что вкус — запах всего этого уже забыли. А Тимофею Геллеру одна девушка даже галстук подарила.

Девушки, девушки, одна отрада в жизни... Мужчин в городе не было, жизнь у девушек была тоскливая. А зекам даже не любви хотелось, на любовь уже сил не оставалось, а хотелось тепла, чтобы кто-то к тебе прижался, обнял, погладил, зашептал в ухо забытые слова, чтобы кто-то тебя просто пожалел, — даже самому сильному человеку трудно без этого. И настоящая любовь была, и интрижки, и просто молодое жеребечество — недаром же красавцу Серафиму Купленскому дали прозвище «Совокупленский».

Свиданиям с девушками препятствовало не столько отсутствие мест для уединения, сколько постоянное внимание к твоей персоне конвоира, особенно если конвоир, как у Королева, был персональный. Однако известно, что неразрешимых проблем нет. Способ борьбы с недремлющим тюремным окном предложил Саша Алимов по прозвищу «Слон». (Прозвище это он получил от Туполева еще в Болшеве, когда ухитрился наступить на очки Андрея Николаевича. Александр Петрович показывал мне туполевские строчки 60-х и начала 70-х годов: «Дорогой Слон...».) В гидравлическую систему бомбардировщика заливалась смесь спирта с глицерином. Достать чистый спирт было довольно сложно, а смесь, получившая название «Ликер Ту-2», была доступнее. Непривычному человеку сладкая эта гадость сокрушала желудок, но при регулярном потреблении понос

утихал, наступала благостная адаптация. Конвоиры быстро пристрастились к «ликеру» и за четвертинку готовы были оставить своего подопечного на некоторое время без надзора. Все омские зеки, с которыми довелось говорить, в один голос подтверждают: Королева девушки любили. И он их тоже.

Сталин был недоволен Туполевым: требования Верховного Главнокомандующего обеспечить серийное производство Ту-2 не выполнялись. Одной из многих составляющих авторитета «великого вождя» было неукоснительное соблюдение им мудрого правила Наполеона Бонапарта: если есть хотя бы малая вероятность того, что твой приказ может быть не выполнен, отдавать этот приказ не следует. Поняв, что Омск не может дать самолет в день, Сталин перестал интересоваться Ту-2. Это тоже было страшно. Каждый день Кутепов и его подручные просыпались с леденящей мыслью, что сегодня Сталин вспомнит о них и начнется нечто ужасное. Если бы просто разнос, даже тюрьма за невыполнение приказа, но ведь можно было взять круче: саботаж в военное время, а это уж точно к стенке.

Люди завода № 166 в отличие от «руководства» спали спокойно и о карах не думали: они работали изо всех сил. На всю жизнь запомнил Сергей Павлович день, когда собрали они первый «носок» бомбардировщика, и вторым — два вольных, один зек — Лев Италинский, Венедикт Помаржанский и Сергей Королев — несли его примеривать к фюзеляжу. Оказалось, «носок» не стыкуется, и тогда в один день он, Королев, сделал так, что стал стыковаться.

15 февраля 1942 года на Юго-Западном фронте отбили три деревни, на Калининском устроили засаду и перестреляли двести немецких лыжников, под Москвой сбили три фашистских самолета, но, наверное, самая важная победа в день 15 февраля была одержана в тылу, в далеком Омске, когда полетел первый серийный бомбардировщик Ту-2.

Как в ЦКБ, Королев вел в Омске потаенную творческую жизнь: что-то чертит, рисует, считает, пишет; как и в Москве, никому своих записей не показывает. Когда Эсфирь Рачевская спросила Шекунова, почему Королев всегда такой сосредоточенный, Евграф Порфирьевич честно признался:

— Не могу понять! Черт его знает, он чокнутый какой-то. Видите ли, в чем дело, он постоянно о чем-то думает, но о чем — никто не знает...

Королев думал о ракетах. Когда его покинули единомышленники — Корнев и Термен, он продолжал работать в одиночку. Никто в ракеты не верил. Он попробовал однажды показать свои выкладки Италинскому. Тот сказал:

— Сосчитано все верно. Но зачем это?

— Надо слетать на Луну обязательно! — в каком-то запале выдохнул Королев.

В цеху было холодно, градусов восемь, котельная не справлялась. Италинский дышал в ладони, грел руки, не расслышал, спросил рассеянно:

— Куда?

— На Луну.

Лев Александрович молча пожал плечами.

Однажды разговор о ракетах возник в их комнате. Шекунов говорил горячо, убежденно:

— Уверю вас, ракеты — тупые существа, дрессировке они не поддаются, как не поддаются дрессировке крокодилы. Летать вы их не научите: палка с постоянным смещением центра масс летать устойчиво не может. Я читал о давних попытках применения ракет в армии, но в конце концов во всех странах от них всегда отказывались...

Иванов, интеллигентно потупившись, молчал, потом спросил осторожно:

— Я не совсем понимаю, Сергей Павлович, какую задачу вы собираетесь поставить перед ракетами, которую не могла бы решить авиация?

— Стратосфера. Заатмосферное пространство,— быстро ответил Королев.

— Все ясно. «Стратосфера»! — с издевкой, ни к кому не обращаясь, как бы сам себе, сказал Крутков, лежавший на кровати.— «Заатмосферное пространство»! Чрезвычайно актуально, учитывая последние сводки Совинформбюро,— и демонстративно отвернулся к стене.

Королев пожалел, что вообще затеял этот разговор. И в Болшеве, и на Язуе, и здесь, в Омске, не раз уже убеждался он, что споры эти бесплодны, что обратиться в свою веру этих умных, знающих людей, прекрасных инженеров, он не в силах. Поэтому, когда один из петляковцев, приехавший из Казани, рассказал ему, что Глушко — зек по делу РНИИ — организовал там группу и проектирует ракетные двигатели для Пе-2, чтобы облегчить их взлет с маленьких фронтовых аэродромов, Королев никому из соседей ничего не сказал. Но с этого дня он неотступно думал о Глушко и твердо решил во что бы то ни стало добиться перевода в Казань. Дело проворачивалось медленно. После разговора с Королевым непосредственный его «куратор» («Малюта Куратор», как звал его Крутков) Алексей Петрович Балашов долго носился со своим начальством, а его начальство — со своим, и добро на перевод было получено только к осени 42-го. Вот тогда Королев объявил своим соседям по комнате, что уезжает в Казань.

— Ускорители эти, конечно, не самое интересное дело, но все-таки поближе к ракетам,— объяснил он, быть может, впервые за много месяцев улыбнувшись, словно извиняясь.

— Ты — дурак,— сказал Геллер.— Неужели ты не понимаешь, что сейчас, когда машина пошла на фронт, нас освободят обязательно?! Ты понимаешь, что ты дурак?

— Тимоша, называй меня как хочешь, но я поеду,— все с той же тихой улыбкой кротко ответил Королев.

— Тимофей, оставь его в покое,— отозвался с кровати Крутков.— *In magnis voluisse sat est...*¹

В сентябре 1942 года три первых серийных самолета Ту-2, завершив заводские испытания, улетели на Калининский фронт. Потом бомбардировщики Туполева дрались на Курской дуге, обеспечивали Выборгскую операцию, бомбили Кенигсберг и Берлин. Ту-2 был признан лучшим фронтовым пикировщиком второй мировой войны.

Геллер оказался прав. Не скоро, примерно через год—в сентябре 1943-го,— туполевцев освободили. Не всех, конечно,— группу, как и в первый раз. Заключенный Королев Сергей Павлович, 1906 года рождения, уроженец города Житомира, дело № 795372, узнал об этом уже в Казани.

10

Науки благороднейшими человеческими упражнениями справедливо почитаются и не терпят порабощения.

Михаил Ломоносов.

Различия тюремных судеб Глушко и Королева, несмотря на схожесть предъявленных им обвинений, на то, что числились они членами одной вредительской организации, можно объяснить лишь тем, что Валентин Петрович Глушко был арестован на три месяца раньше Сергея Павловича Королева. Похоже, Глушко попал в ту же струю, что и Туполев. Следствие велось неспешно, Глушко писал жалобы, его снова допрашивали, он требовал очных ставок с Клейменовым, Лангемаком и Королевым, а ставок этих никто ему, конечно, не

¹ «В великих делах уже само желание — достаточная заслуга» (латинск.) — строка из «Элегии» Проперция.

давал и дать не мог, поскольку Клейменова и Лангемака давно уже расстреляли, а искать Королева было лень. Обвинение с большим трудом было составлено лишь через два года после ареста Валентина Петровича. В «Заключении» по делу Глушко отмечалось, что его «причастность к контрреволюционной организации основана на показаниях Клейменова, Лангемака и Королева, из показаний которых видно, что Королеву об участии Глушко в организации известно от Лангемака, Лангемаку от Клейменова, а... показания Клейменова не конкретны и из них не видно, от кого ему известно об участии Глушко в организации...» И хотя в совершенно секретной «Повестке» к заседанию Особого совещания и указывалось, что «в настоящий момент уточнить его (Глушко.— Я. Г.) вовлечение в троцкистскую организацию не представляется возможным», Особое совещание решило, что можно обойтись и без уточнений, и 15 августа 1939 года приговорило Валентина Петровича к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. Но в лагерь Глушко, по счастью, не попал. В Бутырках в камере № 113 он сидел без блатных, в компании людей замечательных: командарм, награжденный тремя орденами Боевого Красного Знамени, посол в Японии, начальник КВЖД, председатель еврейского общества «Азет», будущий академик — выдающийся теплотехник. Последний — Борис Сергеевич Стечкин — был, однако, не только выдающимся теплотехником, но и не менее выдающимся знатоком тюремных дел. В 1936 году, когда Стечкина как бывшего вредителя уволили с авиазавода, его хотел забрать к себе Туполев в 1-й главк Наркомата оборонной промышленности. Стечкин отказался. С помощью Туполева он стал заместителем начальника ЦИАМ — Центрального института авиационного моторостроения. Там его арестовали уже по делу Туполева — в принадлежности его к «фашистско-русской партии» сомнений не было, да и сам он до поры это не отрицал. У Стечкина был редкий нюх опытного зека. Он знал, что надо делать, чтобы ускорить дело, а что — для того, чтобы его притормозить, и когда надо ускорять, а когда притормаживать. Шарашки он учуял раньше других и подсказал Глушко написать заявление, просить использовать как специалиста. И действительно, заявление — редчайший случай! — возымело действие: Глушко перевели на авиазавод в Тушино, а когда он заикнулся, что, мол, не худо было бы привезти из РНИИ его чертежи и документы, — привезли. Более того, он попросил себе в помощь несколько человек — дали! Появился уже некий коллектив, эмбрион будущего ОКБ.

Глушко почувствовал, что лагерей, может быть, удастся избежать, и написал очень толковое предложение об установке ЖРД на самолетах. Не подозревая о существовании в ЦКБ-29 «руководителей», Валентин Петрович тем не менее ясно представлял себе технический уровень будущих читателей своей записки и постарался сделать ее максимально популярной. Он объяснял, что ракетный двигатель позволит бомбардировщикам не только уменьшить разбег при взлете и взять на борт больше бомб, но, если случится, и уйти от преследования вражеских истребителей гораздо проворнее. В боевых условиях неожиданно резкое увеличение скорости всегда даст эффект, будь то атака или отступление.

Записка действительно была очень ясная и понятная, потому что через несколько дней Глушко повезли на Лубянку. На этот раз обхождение было выше всех похвал: только на «вы» и папиросное угощение. Выяснилось, что руководство ВВС выразило свою заинтересованность его предложениями, а НКВД взяло на себя хлопоты по его трудоустройству. Предлагались на выбор: Москва, Ленинград и Казань. Глушко задумался. Разумеется, лучше всего было бы вернуться на свои родные стены в Лихоборы. Но, во-первых, он не сможет работать под началом донощика, во-вторых, никто его туда не пошлет, поскольку НИИ-3 никакого отношения к ВВС не имеет. В любой же другой известной ему организации в Москве или в Ленинграде — а знал он их довольно хорошо — он все равно окажется телом инородным, всем мешающим, и отправить его оттуда в лагерь при желании не представит большого труда.

— А что в Казани? — осторожно спросил Глушко.

— Там будет большой авиазавод.

Ага, значит, дело только разворачивается, и в это время гораздо легче добиться независимости и самостоятельности. Впрочем, о какой независимости и самостоятельности может мечтать зек?

— Я хотел бы работать в Казани, — сказал Глушко, и этот ответ его почему-то очень понравился человеку, который с ним разговаривал.

— Правильно! Вы сделали совершенно правильный выбор, — радостно сказал он.

Так и не поняв причин ликования НКВД, Глушко со своими сотрудниками вскоре переехал в татарскую столицу.

Сначала Валентин Петрович планировал установить свой ракетный двигатель на самолете «Сталь-7» Роберта Бартини. Это была замечательная, как всегда, ни на что не похожая машина для перевозок двенадцати пассажиров с невероятной для пассажирских самолетов скоростью: четыреста километров в час. Весной 1937 года после успешных испытаний было решено готовить «Сталь-7» к кругосветному перелету, одновременно Бартини вместе с Ермолаевым начал переделывать этот самолет в бомбардировщик ДБ-240. Не успел: арестовали. Потом бомбардировщик все-таки сделают. Он будет называться Ермолаев-2 — «Ер-2».

(Как тесен мир, никакой романист такого не придумает: молодой, талантливый красавец-генерал Владимир Григорьевич Ермолаев умрет в Сибири во время войны от молниеносного тифа. Он был первым мужем Нины Ивановны — будущей жены Сергея Павловича Королева...)

Одновременно Глушко собирался опробовать двигатель и на истребителе «сотке» Петлякова, но «сотка» быстро переродилась в пикирующий бомбардировщик, и теперь, когда Петлякова и его КБ перевели в Казань, Глушко понял, что это — перст судьбы: никакие «Сталь-7», тем более несуществующая «сотка», ему не нужны — на казанском заводе начался серийный выпуск Пе-2, вполне подходящей машины для экспериментов с ракетными двигателями. Глушко начинает разработку нескольких двигателей и довольно быстро добивается успеха. Уже в 1941 году его группа создает двигатель РД-1 с тягой в триста килограммов, работавший на тракторном керосине и азотной кислоте. С начала 1942 года он проводит целую серию испытаний на стенде и добивается, что камера не прогорает и через 70 минут после запуска, причем непрерывно двигатель работал 40 минут, пока не опорожнились баки.

Вот обо всем этом и узнал в Омске Королев, узнал и потерял покой.

Валентин Петрович Глушко рассказывал мне, что Королева он хотел вытянуть к себе еще с Колымы, но Туполев перехватил его. В автобиографическом очерке «Рождение мечты и первые шаги» Глушко пишет:

«По моему ходатайству на работу в наше ОКБ был направлен С. П. Королев. Он горячо взялся за руководство разработкой установки наших двигателей на самолетах и проявил в этой работе блеск своего таланта. С 1942 по 1946 годы С. П. Королев был заместителем Главного Конструктора двигателей по летным испытаниям».

Во всех своих статьях и книгах, в редактируемой им энциклопедии «Космонавтика», везде, где возможно, Валентин Петрович непременно подчеркивает: Королев был его заместителем. Наверное, это очень льстило его самолюбию. Но что правда, то правда: Глушко у Королева заместителем не был, а Королев у Глушко был!

Да, был, и был необыкновенно счастлив!словно истомленный жарой человек, нырнувший в прохладную речку, бросился он в мир своих долгожданных ракет. Теперь он не знал ни выходных дней, ни обеденных перерывов. «Его все называли неугомонным, — вспоминает библиотекарь заводоуправления Лидия Павловна Палеева. — Его жажда знаний удивляла нас. Мы еле успевали подобрать для него необходимые материалы...»

Королева очень интересовали новые разработки Глушко. Он понимал, насколько важно сейчас, в военное время, отработать надежный и мощный ускоритель на жидком топливе. И тем не менее буквально с первых своих дней в Казани начинает он новый этап борьбы за ракетоплан. Очевидно, все эти годы мечта о заатмосферном самолете не оставляла его. Едва оглядевшись и разобравшись, чем конкретно на сегодняшний день располагает Глушко (а располагал тот перспективным, но очень еще сырым двигателем), Королев пишет весьма солидную служебную записку «К вопросу о самолете-перехватчике РП с реактивным двигателем РД-1». Стиль знакомый — сразу берет быка за рога:

«Ознакомление с реактивными двигателями показало, что в ближайшее время вполне возможно и необходимо использование этих двигателей на самолетах.

При обеспечении необходимых условий такие самолеты могут быть осуществлены в короткие сроки и с большим эффектом применены в войне против Германии».

Прекрасно понимая ответственность за выполнение оборонных заданий в военное время, Королев тем не менее назначает сам себе невероятно жесткие. «В декабре месяце с. г., — пишет он 16 декабря! — РД-1 поступает на испытания. В течение 1 квартала 1943 года двигатель будет отрабатываться, после чего он может быть установлен на самолет ориентировочно 1/V — 1/VI 1943 г.». Далее в записке он сжато излагает историю вопроса, рассказывает о своем РП-318, о полете Федорова, дает краткое описание перехватчика, предварительные расчетные данные, оговаривает вооружение (две пушки и пулемет), уточняет особенности производства. В приведенных таблицах, конечно, есть цифры, как говорится, «среднепотолочные». Королев считает, например, что максимальная скорость перехватчика превысит тысячу километров в час («...на основании расчетов с учетом поправки по Берстоу получается 1000 км/час во всех случаях»), не зная, что он переступает тем самым звуковой барьер, предъявляющий особые требования к конструкции самолета. В заключение — опять-таки всепокрушающий королевский напор: «Предлагаемый самолет-перехватчик РП с реактивным двигателем РД-1 является представителем нового класса сверхскоростных высотных истребителей».

Он видит свою машину во всех деталях и пишет о ней, как о чем-то реально существующем: «РП обладает (уже обладает! — Я. Г.) исключительно высокими летными и тактическими качествами и мощным вооружением, что при сравнительно большой для реактивных машин продолжительности полета позволит ему решать многие недоступные для винтомоторных самолетов тактические задачи.

РП может (уже может! — Я. Г.) догнать и уничтожить любой современный скоростной самолет, летящий на сколь угодно большой высоте и попавший в зону его действия».

Но выдвинутой Королевым идее ракетоплана снова не суждено было осуществиться. Первый раз ее погубил Сталин, посадив конструктора (и еще несколько тысяч конструкторов) в тюрьму. Второй раз — два молодых, очень талантливых инженера, никогда не слышавших ни о РП-318, ни о его создателе.

В КБ авиаконструктора Виктора Федоровича Болховитинова работали Александр Березняк и Алексей Исаев. Березняку пришла в голову мысль создать ракетный самолет. Он поделился ею с Исаевым, и они вместе, никому ничего не сказав, начали проектировать невиданную машину. Это была чистая самодеятельность, через много лет Исаев рассказывал:

— ...Страшно вспомнить, как мало я тогда знал и понимал. Сегодня говорят: «открыватели», «первопроходцы». А мы в потемках шли и набивали здоровенные шишки. Ни специальной литературы, ни методики, ни налаженного эксперимента. Каменный век реактивной авиации. Были мы оба законченные лопухи!..

Работа эта их увлекала, ни о чем другом думать они не могли, и в конце концов однажды вечером поехали домой к Болховитинову и все ему рассказали. Болховитинов посмотрел их расчеты, полистал эскизы и сказал задумчиво:

— Все это может у вас получиться...

Так их самостоятельность была узаконена шефом, но ни в каких планах КБ самолет не значился.

Болховитинов катался в воскресенье на яхте по Клязьминскому водохранилищу и, подойдя к берегу, увидел Исаева, сидящего на мотоцикле.

— Виктор Федорович, война! — крикнул Исаев.

Он посадил шефа на багажник и отвез в наркомат.

В тот день нарком авиационной промышленности Алексей Иванович Шахурин дал команду построить опытный экземпляр самолета БИ за месяц.

Через месяц и десять дней БИ — Березняк и Исаев назвали самолет первыми буквами своих фамилий — выкатили на аэродром. Но двигателя для него не было, да и выбирать тогда особенно не из чего было. Остановились на новом двигателе Душкина — более совершенном, чем тот, который он сделал для РП-318.

— Двигатель выглядел внушительно, а показания имел ерундовые, — вспоминал Исаев. — Расчет был на одну-единственную атаку. Эта атака должна была уничтожить вражескую машину, а затем самолет должен был спланировать на свой аэродром...

Осенью 41-го КБ Болховитинова эвакуировали на Урал. Разместилось оно в Билимбае, на крохотном труболитейном заводике. В Кольцово, туда, где сейчас Свердловский аэропорт, эвакуировали научно-испытательный институт ВВС. Там они и нашли Бахчи — Григория Яковлевича Бахчиванджи, — летчика-испытателя для своего БИ. И 15 мая 1942 года состоялся первый полет. Двигатель работал около минуты, но за это время Бахчи сумел забраться на полторы тысячи метров.

Вскоре в Казани появляется Королев со своими идеями возрождения ракетоплана. У Королева пусть заманчивая, но только идея. У Болховитинова — реальная машина, которая уже летает. Не правильнее ли будет, прежде чем начинать новую работу, посмотреть: а стоит ли игра свеч? На что вообще годна эта штукавина с огненным хвостом?

В подобных скептических рассуждениях чиновников наркомата авиационной промышленности был здравый смысл, тем более что нельзя забывать о времени, предельно неподходящем для опытных разработок: немецкое наступление на юге, начало Сталинградской битвы.

История БИ закончилась трагически: 27 марта 1943 года — в день, который ровно через четверть века, час в час, отнимет у нас Юрия Гагарина, — во время седьмого испытательного полета погиб Георгий Бахчиванджи. Его мужество оценят лишь через сорок лет, посмертно наградив его Золотой Звездой Героя Советского Союза. А тогда решение о постройке 30—40 опытных машин было отменено. Вместо них появилась одна-единственная — БИ-2, и товарищи Георгия — Константин Груздев и Борис Кудрин — еще продолжали какое-то время ее испытания, но разгадать тайну гибели Бахчиванджи так и не смогли. Лишь через годы выяснилось, что сверхскоростной истребитель, очевидно, погиб именно потому, что он сверхскоростной: летчик-инженер Кочетков и другие испытатели обнаружили и изучили явление затягивания самолета в пике на больших скоростях. Думаю, если бы Королев построил свой РП, его ракетоплан ожидала бы та же участь, что и БИ: законы аэродинамики одни для всех. А ведь тогда Сергею Павловичу было еще только тридцать семь лет, и он наверняка полетел бы сам...

Быт в Казани более напоминал шарагу на Язуе, чем омский завод. Королеву сразу бросилась в глаза деталь, неизвестная ему в Омске: светомаскировка. Казань немцы не бомбили. Но зенитки стояли, и все окна в большом здании заводоуправления были перечеркнуты тряпочными крестами: защита от осколков стекла, если ударит воздушная волна.

Здание заводоуправления находилось на стыке двух территорий: авиазавода № 27 и моторного завода № 16, эвакуированного из Воронежа. Группа

Глушко состояла как бы при моторном заводе, но директору завода не подчинялась. У казанских зеков был свой «директор» — Василий Петрович Бекетов, чекист с инженерным дипломом.

Административное здание представляло собой три четырехэтажных корпуса, соединенных трехэтажными перемышками так, что в плане было огромной буквой «Ш». В левой стойке этого «Ш» и размещалось ОКБ. На втором этаже — кабинет Бекетова с приемной, где сидела секретарша, кабинет майора Кобеляцкого (вряд ли надо уточнять, какое прозвище дали ему зеки), маленькая комната, в которой работал Глушко со своим преданным помощником техником Иваном Ивановичем Ивановым и нормировщиком Вольфом. Дальше — большая комната со столами в два ряда, где располагались сотрудники Глушко: Жирицкий, Лист, Беленький, Нужин, Озолин, Агафонов и жена Агафопова. Королев сидел на третьем этаже, как раз над кабинетом Бекетова. Там же — жилые комнаты зеков. В каждой комнате ночевало человек по двадцать. Постельное белье меняли раз в десять дней. В спальнях висели портреты вождей. Никому и в голову не приходило, что коли они «враги народа», которых вожди эти покарали, то портреты — кощунство по отношению к вождям.

Вконец пообтрепавшихся зеков придели — выдали шерстяные, очень дурно сшитые, но добротные, «носские», как тогда говорили, костюмы и меховые безрукавки — «душегрейки». На единственной известной мне фотографии зека Королева он в пиджаке, под которым видна «душегрейка».

Цех, где изготовлялись ракетные двигатели, размещался на территории 16-го моторного завода. Монтировали их на бомбардировщики уже на 27-м заводе, самолетостроительном. Таким образом, ракетчики трудились на двух территориях. А вообще ракетчики составляли малую часть зеков: ведь сюда еще перед войной из шараги на улице Радио были переведены петляковцы, которых после гибели Владимира Михайловича возглавил Мясичев. Здесь же работала группа моториста Бодля — проектировали поршневые двигатели — и группа Стечкина. (Вновь встретился здесь Глушко со своим бывшим сокамерником. «Ну, что я тебе говорил? — кричал Борис Сергеевич. — Никогда не надо торопиться! Поверь, здесь гораздо уютнее, чем на джезказганских рудниках...»)

Таким образом, шарага на берегах реки Казанки отличалась от шараги на берегах реки Яузы разнообразием решаемых зеками задач. Отличались они и по режиму. Все строгости Яузы в военное время постепенно отмиранили. Война сплавивала людей, обнажала всю абсурдность и лицемерность шараг, а значит, и ненужность их тюремных порядков. Весь путь из заводууправления, где жил и работал Королев, до проходных заводов — налево 27-го, направо — 16-го — не превышал двухсот метров. На этом пути его должен был сопровождать конвой. Но конвой был уже совсем иной, чем на Яузе, — штатский, без винтовки, если и был у него пистолет, он его не выставлял, не бахвалился. Вскоре Королева и десять других зеков расконвоировали, выдали пропуска с фотографиями (вот откуда, очевидно, этот снимок в «душегрейке»), по которым они могли ходить на завод и с завода, когда хотели. С конвоиром Королев теперь ездил только на аэродром¹.

Расконвоированный зек — это поддельный свободный человек, фальшивый гражданин страны. Он был свободен, как свободна лошадь, у которой нет табунщика, но лошадь стреноженная. Он не мог, скажем, отправиться в центр города и пойти в кино. Но если кто-нибудь из расконвоированных заболел, он мог поехать в больницу. Когда к Воронцову приехала жена, он гулял с ней по скверу неподалеку от заводууправления. В общем, никто не мог определить теперь границ между дозволенным и запрещенным, но все — и вольные, и зеки, и сами вертухан — видели, что авторитет режима падает день ото дня. Дело дошло до того, что один свободомыслящий конвойщик сказал «своему» зеку: «Я вот все думаю: кому и зачем я нужен, кому от меня польза?»

¹ О встрече с зеком Королевым и его конвоиром на казанском аэродроме рассказывал в своих книгах «Испытано в небе» и «С человеком на борту» Марк Лазаревич Галлай. Это были первые в нашей стране публикации, из которых проницательный читатель мог понять, что легендарный Главный конструктор находился в заключении.

Во всем этом странном, противоестественном человеческом сообществе ракетчики держались довольно обособленно. В заводской иерархии они были элитой: ракетчиков было мало, работа их была другим малопонятна, но считалась совершенно секретной, чтобы попасть к ним, требовался специальный пропуск, — все это не могло не создать ореола исключительности. В спальнях ореол этот тускнел: ракетчики жили вместе с другими зеками. Старик Пазухин, профессор из института золота, вечно штопающий свои носки, был консультантом по химии. Иван Иванович Сидорин, известный металлург, который помогал Туполеву в строительстве первых наших цельнометаллических самолетов, занимался материаловедением. Николай Романович Воронцов на воле был заместителем начальника ОТК большого завода, а здесь стал начальником цеха сборки ЖРД.

Кровать Королева стояла в одном ряду с кроватями Глушко и Севрука.

Доминик Доминикович Севрук вел в ОКБ испытания двигателей на специальных стендах, пристроенных к цеху № 30 моторного завода трудами Александра Поликарповича Кужмы, которого многие считали авантюристом, потому что всякое внеплановое строительство в 1941 году заведомо было опасной авантюрой. Севрук увлекался автоматикой, стремился приспособить ее в ЖРД везде, где только можно. Экспериментатором он был блестящим, работал быстро, весело и удачливо — такие люди слывут «везунами», и общаться с ними приятно. У Севрука всегда была масса интересных инженерных идей, которые он щедро раздавал, но сам редко к ним возвращался. Некоторые считали его человеком разбросанным — тугодумы часто называют так людей просто талантливых, не желая признавать, что подобная «разбросанность» им самим, увы, недоступна. Севрук еще в 1941 году начал первые испытания ускорителей Глушко, которые особенно заинтересовали Королева.

Теперь, когда идея постройки собственного ракетоплана была отвергнута, Королев сразу решил, что он займется как раз летными испытаниями этих ускорителей. То была живая, творческая работа, по которой он истосковался. Глушко согласился. Королеву выделили техников, слесарей-сборщиков, двух-трех молодых инженеров-прочнистов, и уже в начале января 1943 года «группа № 5» — так называлось подразделение Королева — приступила к работе. Вскоре по согласованию с Мясичевым был выделен серийный бомбардировщик Пе-2 с бортовым номером 15/158, переоборудованием которого и занялся Королев. Позднее для испытательной работы были откомандированы и два летчика, два Саши: Александр Григорьевич Васильченко и Александр Силуянович Пальчиков.

Двигатель работает, самолет серийный — на первый взгляд может показаться, что соединение их в единое целое не представляет серьезной проблемы, но это было совсем непросто. Ведь самолет проектировался без учета того, что на нем будет установлен ЖРД. В организм этого готового, серийного, «взрослого» самолета требовалось теперь как бы вживить новый орган, самой его природой не предусмотренный. Королев искал, где какой узел можно расположить, прибрассывал и так, и эдак, начертил несколько вариантов. Как-то в ОКБ зашел Мясичев, подошел к кульману Королева, долго рассматривал его чертеж. После стычек в Москве они встречались редко и, очевидно, сохранили некоторую неприязнь друг к другу.

— Это куда не годится, — сказал Мясичев тоном, за который и получил прозвище «Боярин». — Вся ваша система должна быть единым, компактным, самостоятельным агрегатом. А у вас разные узелки разбросаны по всему самолету. Кто же так делает?..

Королев стоял красный. Злился ужасно, но молчал. А что скажешь? Прав «Боярин»! Это был хороший урок, который он надолго запомнил.

Королев всегда работал быстро и с задачей окончательной увязки РД-1 и Пе-2 справился тоже быстро. Но соединить одну железку с другой намного проще, чем соединить деятельность всех людей, стоящих за этими железками. Испытания, за которые теперь отвечал Королев, были самым тесным образом связаны с производством 30-го цеха, с графиком загрузки испытательных стендов, с работой механиков и сборщиков на авиазаводе, наконец, с авиаторами,

с теми, кто готовил самолет к испытаниям и летал на нем. Это был маленький, еще довольно примитивный прообраз тех Больших Организационных Систем, которые впоследствии создал «космический» Королев.

Уже первые летные испытания РД-1 быстро выявили его «ахиллесову пятю». Во время полета его требовалось включать и выключать. Выключить — дело нехитрое. А вот включаться он не хотел: не срабатывало электрическое зажигание. Глушко решил вообще от него отказаться, заменить химическим. Так родился двигатель РД-1ХЗ. ХЗ — это химическое зажигание.

Дело не только в том, что барахлило зажигание. Волновала и герметичность: насосы керосина и кислоты сидели на одном валу, компоненты могли смешаться и... И мало ли что может вообще случиться! Стендовые испытания и ответственны, и опасны, но летные — во сто раз ответственнее и опаснее. Пожар в воздухе — это не пожар на стенде, и взрыв там и тут — это разные взрывы. Академик Борис Викторович Раушенбах писал много лет спустя: «Следует обратить внимание на то, что установка жидкостных ракетных двигателей на самолеты требует чрезвычайно высокой степени надежности. Если можно было допустить хотя бы в мыслях взрыв маленькой ракеты, которую запускают из бункера, то допустить, чтобы произошел взрыв на самолете, в котором сидят летчик и экспериментатор (а Королев и сам летал на этих самолетах), было невозможно. И поэтому в военные годы происходит, может быть, невидимая для большинства, но очень важная работа по созданию ракетной системы высочайшей надежности. Это оказалось необходимым впоследствии, когда после войны Сергей Павлович вернулся к прерванной работе по ракетам с жидкостными двигателями».

Предсказать, откуда и что тебе угрожает, в испытательной работе невозможно, иначе она не была бы испытательной. Ну разве можно было предусмотреть, что вот Севрук полетит, а какой-то сумасшедший зенитный расчет начнет его обстреливать? Слава богу, не попали.

При летных испытаниях мог подвести не только двигатель, который испытывался, но и самолет, на котором его испытывали. В 1944 году судьба снова сберегла нам Королева. Молодой инженер Александров упросил однажды Сергея Павловича разрешить ему один испытательный полет. Королев разрешил. И на его глазах у Пе-2 заглох один мотор, он быстро стал терять высоту, выпустил шасси, но до полосы не дотянул, зацепился колесами за крышу какой-то избушки, обломил крыло с бензобаком, дом вспыхнул, как стог сена, однокрылый бомбардировщик протащился на брюхе несколько метров и замер. Когда Королев подбежал, Александров был еще жив, но в тот же день умер. Васильченко, который пилотировал бомбардировщик, повредил позвоночник и ногу, лежал в госпитале, потом опять начал летать.

Судьба Королева сберегала всегда: мог подорваться на mine в Одессе — не подорвался, мог сломать шею на планере в Киеве — не сломал. Судьба убрала его с поста заместителя начальника РНИИ — и его не расстреляли, притормозила на Кольме — и он не утонул на «Индиgire». И в Казани вновь подвела она его к тому краю, за которым уже нет ничего, но дальше не пустила. Случилось это уже перед самым отъездом из Казани. Сохранился документ:

«Приказ № 3 по опытно-конструкторскому бюро специальных двигателей от 8 июня 1945 года.

12 мая 45 года во время опытного высотного полета самолета со спецдвигателем на высоте 7000 метров при включении спецдвигателя произошел взрыв, разрушивший двигатель и повредивший хвостовое оперение самолета. Особо отмечаю четкую и умелую работу экипажа самолета во время аварии, блестяще справившегося со своей задачей в сложной обстановке и благополучно посадившего машину на аэродроме. В связи с этим объявляю благодарность экипажу самолета: летчику-испытателю капитану Васильченко А. Г.

инженеру-экспериментатору Королеву С. П.

бортмеханику Харламову С. Ф.

Главный конструктор ОКБ В. Глушко»

Есть несколько версий того, что тогда произошло, и почти во всех рассказывается, что Королев был ранен. Расспросить самого Королева об этой истории я не успел. Встретиться с Васильченко и Харламовым тоже не удалось. Александр Григорьевич Васильченко умер раньше Королева — пройдя по всем ступеням риска в своей опасной профессии, он угорел в гараже.

Королев считает работы над ускорителями весьма перспективными. «В ближайшие год-два, — писал он в Казани, — вспомогательные реактивные установки явятся наиболее жизненной формой использования жидкостных ракетных двигателей на их современной стадии развития». Создается впечатление, что казанский опыт заставил Сергея Павловича несколько откорректировать свои планы создания самолета стратосферы. Не беда, если вначале это будет гибридный ракетный и поршневого самолета. По мере совершенствования ракетный будет все более вытеснять поршневой и в конце концов превратится в чистый ракетоплан. Одновременно Королев продолжает те самые свои «потаенные» работы, которые он вел в гараже на Яузе и в Омске (не удивлюсь, если завтра обнаружится, что и на Колыме он их вел). Казанские записи, расчеты и чертежи сохранились. Это уже не самолеты, а «чистые» ракеты, но они мощнее, крупнее тех, которые он проектировал в РНИИ. Можно назвать эти ракеты ракетами второго поколения: длина четыре с половиной метра, заряд двести килограммов. Построены они не будут, но для того, чтобы создать те, которые будут построены, очевидно, надо было пройти через этот этап развития.

Еще более важным, чем для Королева, был казанский период для Глушко. Несмотря на то, что некоторый опыт в ГДЛ и РНИИ уже существовал, работы в Казани были новаторскими, пионерскими. Надо было создавать теорию, соотносить ей вести расчеты, конструировать, строить, испытывать, сравнивать то, что получали, с тем, что надеялись получить, разбираться, почему не получили, и начинать все сначала. В Казани Глушко стал главным конструктором, получил свое Дело, свою производственную базу, свои испытательные стенды. Здесь зародился, пошел в рост коллектив будущего могучего конструкторского бюро ракетного двигателестроения.

С Королевым они были очень непохожи: разные характеры, темпераменты, манеры общения, а в чем-то важном, касающемся Дела, вдруг обнаруживали сходство. Но, наверное, все-таки самым главным из того, что их объединяло тогда, был Указ, в котором фамилии их стояли рядом, — Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 июля 1944 года о досрочном освобождении со снятием судимости.

Давно, с весны, гулял по гараже слух об этом Указе, кто-то, где-то, у кого-то даже видел какие-то списки с чьими-то фамилиями. Королев не верил. Не хотел верить. Уж слишком часто разочаровывался. Наверное, что-то внутри перегорело. Он и сам не ожидал, что воспримет долгожданную весть так спокойно.

Лет пятнадцать, а может быть, и двадцать назад, начав разбираться, как и когда Королев вернулся в Москву, я заранее уже составил ответ на эти вопросы. В воображении моем Королев уезжал в Москву на следующий день после объявления амнистии. А может быть, в тот же день. Натякаясь на даты в документах, на воспоминания очевидцев, из которых явствовало, что и после освобождения он продолжает работать в Казани, поначалу думал, что это какая-то ошибка. «Мой» Королев должен был уехать сразу. Я тогда еще плохо знал его. И воспоминаний моих, воспоминаний эвакуированного в Омск первоклассника, не хватало, чтобы увидеть суть яую правду взрослой жизни тех лет, жизни «по законам военного времени». В этих законах не было слова «хочу». В этих законах было только слово «надо». Люди, работавшие на оборонных предприятиях, имели не намного больше прав распоряжаться собой, чем зеки. Королев писал Ксении Максимилиановне:

«Сейчас тяжелое время и не время жаловаться, тысячи людей разлучены и, быть может, навсегда. Все это я понимаю, и этим я живу вместе со всеми, но ведь не все уложишь в рамки, в установленный порядок и не прикажешь сердцу замолчать!! Так я лелеял надежду на скорую встречу с тобой и с мамой, но так же нам не везет, и который уже раз. Вот и сейчас все у нас тут неожиданно закончилось, и я сижу и не знаю, что и как дальше будет. Я надеялся, что когда закончу эту работу, то смогу вас повидать, но сейчас все опять изменилось. Куда направят, я не знаю, не исключена возможность, что останемся и здесь, только на другой работе, и значит, все сначала. Но сейчас меня с работы не отпустят, я в этом уверен».

9 августа все освобожденные зеки — их было двадцать девять — справились новоселье: им отвели целый подъезд шестизэтажного дома № 5 по улице Лядова. Там, на четвертом этаже, получил комнату и Сергей Павлович. Было странно и непривычно спать в комнате одному. Он постепенно осознавал свободу, неторопливо разглядывал мир и видел его совсем другим, несравненно более полным, разнообразным, красочным. Так случается с людьми после тяжелой болезни. Впрочем, это и была тяжелая болезнь, эпидемия Сталина. Королеву повезло: он выжил. Он пишет матери:

«У меня хорошая комната 22 м² с дверью на будущий балкон и двумя окнами, так что вся торцовая наружная стена остеклена. Много света и солнца, так как мое окно смотрит на юг и восток немного. Утром с самого восхода и до полудня, даже больше, все залито ослепительным ярким солнцем. Я не ощущал раньше (до войны) всей прелести того, что нас окружает, а сейчас я знаю цену и лучу солнца, и глотку свежего воздуха, и корке сухого хлеба.

Комната моя «шикарно» обставлена, а именно: кровать со всем необходимым. Стол кухонный, покрытый простыней, 2 табурета, тумбочка и письменный стол, привезенный мною с работы. На окне моя посуда: 3 банки стеклянные и 2 бутылки, кружка и одна чайная ложка. Вот и все мое имущество и хозяйство. Чувствую ваши насмешливые улыбки, да и мне самому смешно. Но я не горюю... Это ведь не главное в жизни, и вообще, все это пустяки».

Он всегда был бессребреником, а из тюрьмы вынес стойкое, на всю жизнь, убеждение в относительной ценности денег, вещей, одежды, удобств. Он ничего не коллекционировал, мало было вещей, которыми он дорожил, а если и дорожил — не за их стоимость. С Колымы он привез алюминиевую кружку и сохранил ее до конца жизни. Душегрейку пришлось выбросить в конце концов, но он не любил менять костюмы, пальто, был равнодушен к моде. В ленинградской комиссионке один раз в жизни купил картину за тридцать рублей и уверял Нину Ивановну, что это Михаил Клодт. Он мог подарить жене дорогую шубу, но после смерти на его берегательной книжке лежало 16 рублей 24 копейки. Кинозала на даче не было. Потому что дачи тоже не было, хотя могла быть. Несколько последних лет его жизни был большой двухэтажный дом с садом и розарием (подарок правительства), большой черный автомобиль (служебный) и даже персональный большой самолет ИЛ-18 (разумеется, служебный). Но и тогда он твердо знал: «Это ведь не главное в жизни, и вообще, все это пустяки».

Не пустяки для него всегда одно — Дело. Королев не мог уехать из Казани сразу после освобождения, это верно. Но он и не хотел из Казани уезжать. Вывод на первый взгляд парадоксальный, однако если разобраться...

Что он будет делать в Москве? Кто примет на работу вчерашнего зека, не реабилитированного, а лишь прощенного? НИИ-3 в эвакуации. На старой базе занимаются «катушками». Его тематика, особенно самолетная, от них далека. Да и не надо туда возвращаться, старое ворошить. Чего больше всего хочет Королев в конце лета 1944 года, в дни обретения свободы? Хочет самостоятельности. Хочет иметь свое Дело.

Многое объясняет «Докладная записка», написанная 30 сентября, то есть

через два месяца после освобождения, — «О работах Бюро самолетных реактивных установок при ОКБ-РД на заводе № 16». Заметьте, как уже в заголовке сформулировано: Бюро при ОКБ. В самой записке вновь подчеркивается: «В период 1942—1944 гг. в системе ОКБ 4-го спецотдела НКВД на заводе № 16 находились две самостоятельные группы: КБ-2 — конструкторское бюро реактивных двигателей (Глушко) и группа № 5 — самолетных реактивных установок (Королев)». Он декларирует свою независимость, положение заместителя Глушко его не устраивает. Потом, правда, он вынужден признать: «группа № 5 придана ОКБ-РД на заводе № 16». В докладной перечисляет сделанное за два года и даже рассказывает о всех работах 1932—1938 годов, создавая картину весьма внушительную: «Было выполнено несколько сотен экспериментальных пусков...» Зачем это все он пишет?

Во-первых, чтобы отбиться от новых «хозяев»: «Сейчас группа передана в Моторное КБ, несвойственное по профилю производимых работ. Работники завода № 22 в результате отозваны и используются на других работах. Фактически группа не имеет возможности работать дальше».

Во-вторых, чтобы получить не только юридическую, но и творческую свободу: «В настоящее время было бы своевременным и целесообразным реорганизовать группу в самостоятельное конструкторское бюро на одной из производственных баз в системе главного управления НКВД по реактивной технике».

Он готов остаться в системе НКВД? Да, готов. Королев реально представляет себе расстановку сил в промышленности и понимает, что сейчас, на исходе войны, он никому со своей тематикой не нужен, его не «купят» вместе с его группой ни авиационники, ни вооруженцы. Для того, чтобы продолжать свое дело, он согласен на шарагу, но только на свою шаругу, со своей тематикой. Так, чтобы не он при двигателях, а двигатели при нем. Чем он собирается заниматься?

«Наибольший интерес представляет тема: одномоторный истребитель с бензиновым мотором [и РД] и реактивной установкой по специальной схеме.

Несомненно, что особое значение представляет разработка реактивных автоматически управляемых торпед для поражения весьма удаленных площадей, по типу немецких боевых ракет».

Докладная записка датирована 30 сентября 1944 года. Первая ракета Фау-2 выпущена на Лондон 8 сентября. Вряд ли Королев имеет в виду эту ракету — англичане еще сами толком не разобрались, что на них падает. Скорее он пишет о самолете-снаряде Фау-1. Эти снаряды тоже начали применяться недавно — с 13 июня 1944 года, но он уже в курсе дела, осведомлен о всех новинках! Сосед Королева по дому Николай Сергеевич Шнякин вспоминает: «Появившаяся надежда на организацию собственного ОКБ буквально окрылила его, и он без устали работал, составлял планы работ на будущее».

Поразительный человек! Вчерашний зек требует КБ! Усталый, больной (не раз случались сердечные приступы), драный, нищий (стеклянная банка и чайная ложка — все его богатство), печется о судьбе своего крохотного коллектива. У него нет канцелярской скрепки, чтобы не разлетелись странички докладной записки, он прокалывает их сапожным гвоздиком, а ему нужен стратосферный самолет!

В октябре Королев составляет отчет «Крылатые ракеты». Отчета этого никто с него не спрашивает. Пишет для себя. Подводит итог всему, что успел сделать на воле до 1938 года. Смотрит, откуда надо начинать.

В декабре он завершает эскизный проект ракетной модификации истребителя Лавочкина Ла-5ВИ.

Новый год встречали весело, пили спирт, пели песни; встреча Нового года на свободе — тоже забытое ощущение...

Всю зиму и весну продолжает полеты на Пе-2 с ракетной установкой. К Первому в Казанском авиационном институте организована кафедра ра-

кетных двигателей. Глушко стал заведующим кафедрой, Жирицкий — профессором, Королев, Лист, Севрук и Брагин — старшими преподавателями.

Но заняться преподаванием он не успел.

...В тот вечер он пришел домой после полетов усталый, хотел приготовить что-нибудь на ужин, но решил немного отдохнуть, одетый прилег на кровать и уснул. Проснулся, когда было уже темно, от какого-то глухого шума, гула, который проникал в комнату отовсюду — сверху, снизу, сквозь стены, с улицы. Королев вышел в коридор, в квартире никого не было. Открыл дверь на лестничную площадку. Снизу по лестнице огромными прыжками неся незнакомый ему человек с мокрым лицом и невероятно сияющими глазами. Увидев Королева, он закричал: «Победа! Победа!»

Внизу слышен был голос Левитана, и Королев бросился на этот голос.

— ...прекратить военные действия в 23.01 часа по центрально-европейскому времени 8 мая 1945 года...

Начала он не слышал, услышал самое главное.

Через шестнадцать лет он опять услышит этот ликующий голос, услышит самое главное:

— ...космический корабль «Восток» с человеком на борту...

Тогда, на лестничной площадке казанского дома, он не мог знать того, что будет через шестнадцать лет. Тогда он знал лишь, что конец войны означает одно: пришло время начинать сначала. Как, где, с кем — не знал, но то, что придется начинать сначала, знал твердо. У него украли шесть лет, шесть лет, когда он был в самой силе. Теперь надо наверстать эти шесть лет. Скоро сорок. Время еще есть. Но надо очень торопиться.

* * *

Остается лишь поблагодарить тех, кто рассказал мне о годах заточения С. П. Королева. Своими знаниями и воспоминаниями со мною поделились десятки людей — знаменитые и безвестные, те, кто жив, и те, кого уже нет. Если хроника выйдет отдельной книгой, назову всех поименно.

Выражаю искреннюю благодарность Дому-музею С. П. Королева в Москве, архиву Академии наук СССР, архиву бывшего РНИИ, госархивам Магаданской области и Приморского края,

а также КГБ и МВД СССР, Военной коллегии Верховного суда СССР, Главной военной прокуратуре, УВД Магаданской области и руководству Бутырской тюрьмы за помощь в моей работе.